

№ 12. — Декабрь 1859 года.

Ход дел в Центральной Италии. — Отставка Гарибальди. — Конгресс. — Прочность австрийского порядка. — Безопасность венгерского движения, общего неудовольствия и финансового расстройтва. — Отношение Франции к Англии.

Chi va piano, va sano — «кто идет потихоньку, наверное дойдет». По этой итальянской поговорке [ведет итальянское дело воля императора французов, для интересов которого необходимо, чтобы Виктор-Эммануил не приобрел расширения границ, достаточного для политической самостоятельности, чтобы он остался слабым и боящимся Австрии, чтобы он остался нуждающимся в покровительстве тюильрийского кабинета, который продолжал бы господствовать над судьбами Италии]. Вот уже почти полгода <прошло> после Виллафранкского мира, и никаких резких мер не было еще употреблено в Италии. Французские войска продолжают занимать Ломбардию, но этот факт не имеет ничего резкого: натурально, что могущественный союзник оставлял часть своей армии в завоеванной земле для защиты слабого союзника, пока Сардиния не подписала окончательного мира с Австрией. А если французские войска простояли в Ломбардии более четырех месяцев, то почему же не пробыть им на прежних квартирах еще несколько времени, тем более, что поздней осенью и зимой передвигать их обременительно. Потому о французских войсках в Италии нельзя говорить никому раздражительным тоном. Кроме этого, никаких насилий не было. Все ведено было тихо, и благодаря этой тихости дело подводится все ближе и ближе к потребной цели. Области Центральной Италии, успевшие возмутиться против законных правительств, воображали, что их присоединение к Пьемонту решено тайными условиями Виллафранкского договора. Но король сардинский бездействовал, и они увидели надобность самим принять инициативу; на это король сардинский отвечал, что принять предлагаемой ему власти не может. Они думали, что Сардиния решится хотя послать к ним регента; Сардиния не решилась и на это. Потом они просили, чтобы правитель,

назначенный для них без их согласия, служил, по крайней мере, комиссаром сардинского короля. Сардиния объявила, что не может давать ему этого качества и что он едет в Центральную Италию просто как г. Буонкомпаньи, а не как поверенный сардинского правительства. Они согласились и на это. Было у них войско и был генерал, которым держалось войско. Сардинское правительство объявило генералу, что он служит препятствием для успешного хода дипломатических отношений; он вышел в отставку, и войско Центральной Италии теперь ослабевает. Участь ее положено поставить в зависимость не от ее стремлений, не от итальянского чувства, а от решений конгресса. Сначала думали итальянцы, что кроме пяти великих держав на конгрессе будет только Сардиния, их защитница, плохая или хорошая, но все-таки защитница; потом они увидели, что будут приглашены также решать их судьбу Рим и Неаполь, мнение которых очень хорошо известно. После этого стало очевидно даже для итальянцев, на какой стороне будет большинство голосов. Но итальянцы надеялись, что решения конгресса будут иметь только нравственное значение советов и указаний; скоро стали говорить им, что конгресс может определить некоторые случаи вооруженного вмешательства для исполнения своих решений. В последнее время начали определять, в чем должны состоять эти случаи. Во внутреннюю администрацию иностранцы не должны вмешиваться, но интересы европейского равновесия требуют восстановления известных разграничений между государствами; потому конгресс может послать войска для предотвращения перемен в распределении итальянских государств. Таким образом, итальянское дело очень определительно принимает тот характер, какой и следовало принять ему, судя по всем соображениям. Мы давно уже говорили, что пора публике перестать интересоваться им, как перестаете интересоваться дюжинным романом, с первых страниц которого виден весь ход интриги и предугадывается развязка, дающая торжество добродетели и наказывающая порок. Читатель знает, что мы любим становиться на точку зрения людей, ведущих дело, и потому мы, без сомнения, должны называть здесь пороком те стремления, представителями которых служат теперь Буонкомпаньи и Риказоли, а прежде служил граф Кавур. Сущность этих стремлений состоит в том, чтобы достигнуть упрочения итальянской национальности не силами самого итальянского народа, а помощью союзов и дипломатических тонкостей. Граф Кавур наказан за такую мечту, и не замедлят быть наказаны его продолжатели в Центральной Италии.

Дело становится безнадежным, люди расчетливые охладевают к нему, и оставляемое ими влияние начинает переходить к людям более твердым, но получающим власть слишком поздно. Фарини, бывший самым энергичным из трех диктаторов, соединил теперь

в своих руках управление Романьёю с прежнею своею властью над Пармой и Моденой. Когда был выбран национальным собранием Романьи в регенты Центральной Италии принц кариньянский, отказался от диктатуры над Романьёю полковник Чиприани, который очень долго был итальянским патриотом, служа агентом французского влияния. Он думал, что принц кариньянский примет регентство; но очевидно, что французский кабинет оставил его при таком ожидании только для того, чтобы его удаление служило ясным предостережением для Турина. Сардинское правительство видело, что при одной мысли о регентстве принца кариньянского отказываются от дел люди, находящиеся в хороших отношениях к французскому двору; из этого оно должно было заключать о серьезности неудовольствия со стороны Франции, которому подвергалось бы оно допущением принца кариньянского к регентству. Жители Романьи, покинутые прежним диктатором, должны были обратиться к Фарини. Новый диктатор принял разные меры к теснейшему соединению герцогств с Романьёю. Но ничего важного сделать он не мог, потому что, несмотря на все разочарования, большинство так называемых либеральных людей в Центральной Италии все еще ждет от конгресса исполнения своих желаний, никак не вразумляясь о их незаконности с легитимной точки зрения. Вот письмо флорентинского корреспондента *Times'a*, показывающее, какая способность к самоослепленности оставалась в итальянских либералах даже тогда, когда они узнали, что Франция запретила принцу кариньянскому быть регентом.

«Флоренция, ноября 14.

«Против моего искреннего убеждения я послал вам в прошлый четверг, 10-го числа, две строки, содержавшие важное известие, что выбор принца кариньянского регентом будет благоприятно принят в Турине. Это известие было получено мной из самого высшего официального источника; оно разрушало все доказательства, которыми я в письме, отправленном к вам за минуту перед этим, подтверждал свою мысль о невозможности того, чтобы Франция позволила Сардинии послать регента без согласия Франции. Но я тотчас же послал к вам по телеграфу радостную весть, довольный тем, что мои мрачные соображения опровергаются официальным образом».

«Теперь, продолжает корреспондент, эта официальная уверенность опровергнута фактами: Сардиния по внушению Франции отказалась послать принца кариньянского, и полуофициальная туринская газета *Opinione* принуждена объявить, что «представились этому делу затруднения, которых нельзя было предусматривать».

«Но, говорит корреспондент, и *Opinione*, и *Indépendente*, и *Corriere Mercantile* довольно странным образом утверждают, что препятствия делу, столь благотворному для Италии, без всякого сомнения, не происходят от Франции, — они утверждают это, имея под глазами «Монитёр», объявляющий, что «должно сожалеть о решении, которым собрание Центральной Италии предложило регентство принцу кариньянскому». Эти неисправимые обольстители общественного мнения решились, повидимому, ослеплять себя до конца. Виллафранкский мир, по их словам, был «не так дурен» для Италии; Цюрихский мир был «лучше Виллафранкского»; письмо императора &

Виктору-Эммануилу было «доброжелательной мыслью»; и теперь они говорят, что «Монитор» «только сожалеет, но вовсе не протестует». Это только проблеск молнии, а не настоящая гроза; они протрут глаза, немножко встрепнутся, и через минуту их надежда попрежнему свежа.

«В этом вечном самообольщении итальянцев нет ни чувства собственного достоинства, ни истинного благоразумия. Я не осуждаю бедняка, который хватается за соломинку. Но 12 миллионов народа, имеющих в поле 150.000 солдат, с королем, готовым исполнить свою обязанность или умереть, и с мечом Гарибальди, не должны были бы вечно ждать чужих разрешений или запрещений. Я уверен, что если бы король сардинский отважно отказал в согласии на виллафранкские условия, он оказался бы сильнее обоих императоров, своего друга и своего врага, потому что французский император все-таки не был в этом деле всею Францией, не был даже французскою армиею. Я сам своими глазами видел, как французские офицеры в Милане ломали свои шпаги, прочитав депешу о Виллафранкском перемирии.

«Отважность, которая могла бы тогда спасти Пьемонт и Италию, остается и теперь единственным спасением для Италии и Пьемонта. Бог известно, что дело Виктора-Эммануила и Италии ясно и чисто перед всем светом. Пусть он воскликнет: Dieu et mon droit! * Итальянцы должны, наконец, понять, что им надобно полагаться на самих себя и только на самих себя. В ту минуту, когда они выступят с отвагою перед лицом Европы, Европа будет на их стороне. Правда, ни Франция, ни Англия не будут сражаться за них; но их отвага внушит к ним симпатию и удивление и французской, и английской нации; император французов увидит тогда, что не всеислен даже во Франции, даже в рядах своих солдат. Несмотря на свою долгую робость, на свое напрасное дипломатизированье, итальянцы имеют больше друзей, чем врагов, за Альпами, — друзей в Англии и Франции, друзей в Германии и самой Австрии. Пусть они смелыми, решительными делами превратят в энтузиазм эту благорасположенность к ним. Пусть они вспомнят, что сделала Швейцария в старину, что сделала Греция недавно. Истинная храбрость возбуждает уважение и приходит к тому, что приобретает помощь и содействие, которых не ждала и не просила».

Без всякого сомнения, итальянцы когда-нибудь убедятся в справедливости размышлений, представляемых этим отрывком. Но до сих пор, как видно, то большинство людей, в котором честность соединяется с недалёковидностью, продолжает еще надеяться не на свои силы, а на чужое доброжелательство. Иначе не вышел бы в отставку Гарибальди. Когда мы заканчивали прошедший обзор, только что было получено телеграфическое известие об отставке Гарибальди без всяких объяснений этого факта. Кажется, легко можно бы нам сообразить, что этот факт может иметь только один смысл, — нет, с наивностью, достойною золотого века, — с наивностью, над которою так часто смеемся, мы умудрились видеть в нем признак хотя слабой возможности к осуществлению стремлений, погибель которых так ясно предсказывается здравым смыслом. Мы сказали себе: быть может, Гарибальди увидел невозможность спасти итальянское дело с людьми, губящими его своим легковерием; быть может, своим выходом в отставку он говорит итальянцам: выбирайте между ними и между мною, пока я могу еще приготовить вас к обороне от врагов. Ка-

* «Бог и мое право». — *Ред.*

как наивность, какое ребячество! Гарибальди просто был упрощен удалиться как человек вредный; быть может, он и не считал себя вредным; но что же было ему делать, когда его уверяли в том люди, уважать мнения которых он имеет слабость? Следующее письмо, переводимое нами, по обыкновению, из Times'a, объясняет начало дела.

«Когда война кончилась и услуги Гарибальди стали не нужны Ломбардии, он стал искать нового поля для своего патриотизма и деятельности и нашел его в Центральной Италии, где с радостью был встречен всеми, в том числе и правительством. Едва стало известно его новое положение, как молодежь Ломбардии, Венеции и итальянского Тироля стала сходить к его знамени. Альпийские стрелки последовали за своим предводителем; из 7.000, составлявших этот корпус, едва ли 600 и 700 человек остались в сардинской службе. Да и те стали лишь тенью того, чем были прежде. Нравственное влияние их прежнего генерала было таково, что он обходился без наказаний, и не было ни одной жалобы на нарушение дисциплины. С переходом команды в новые руки как будто изменилась натура альпийских стрелков, и стало нужно прибегать к самым жестоким военным наказаниям для сохранения какого-нибудь порядка. Едва ли надобно говорить, что пьемонтские командиры приписывали это печальное дело отсутствию дисциплины, в котором стрелки привыкли жить при Гарибальди, а для каждого другого было очевидно, что беда произошла от желания пьемонтских командиров, не имевших права на уважение своих солдат, применять педантические правила, годные для конскриптов, к отряду волонтеров.

«Альпийские стрелки, последовавшие за своим предводителем в Центральную Италию, составили зерно армии герцогств, и около них группировались волонтеры, сходявшиеся отовсюду. Таким образом, армия герцогств была, можно сказать, армией Гарибальди, а он сам — центром народных оваций и симпатий. Это было следствием самой сущности дела, а не проксков Гарибальди; даже противники его сознаются, что ни в ком нет так мало охоты блистать, как в нем. Естественно было, что правительства Центральной Италии, столь замечательные своею благонамеренною вялостью, стали недоброжелательным таким нравственным превосходством, совершенно затмевавшим их. Они не могли признаваться в своем чувстве, но положение было для них чрезвычайно неприятное. Чтобы избавиться от своей досады, они вздумали выпросить организатора для армии из Пьемонта. Предложено было, что новый главнокомандующий будет новым звеном связи с Пьемонтом и кроме того будет помощником для Гарибальди, о котором они распространяли слух, что при всех своих блестящих качествах он «вовсе не администратор»; но особенно распространяли слух, что необходимость нового назначения произойдет наклонностью Гарибальди поднять в южной Италии восстание, которое может компрометировать Центральную Италию и привести к вооруженному вмешательству.

«Гарибальди, всегда готовый приносить свое личное положение в жертву для общего дела, согласился на эту уступку и не усомнился подтвердить своим молчанием мысль, будто бы передача главной команды генералу Фанти была его собственным желанием. Вначале не было особенных столкновений, но скоро оказалось, что фальшивого положения нельзя исправить приданием ему еще большей фальшивости. Армия герцогств, состоявшая из волонтеров, была учреждение народное, требовавшее не такого характера команды, как армия, составленная из конскриптов. Генерал Фанти, служивший последние десять лет в Пьемонте, так пропитался духом пьемонтской военной организации, что, повидимому, не замечал этой разницы. Дело состояло в том, чтобы пользоваться всеми пригодными материалами для быстрого составления национального войска, а не в том, чтобы соблюдать педантические правила, замедлявшие формирование новых сил. Прямее говоря, Фанти совер-

шенно пренебрегал важным элементом, который в подобных случаях должен вознаграждать недостаточность других условий. Этот элемент — народный энтузиазм; надобно было организовать его, а не подавлять формальностями похвальной рутинны. Когда приходили волонтеры со всех сторон, их не спрашивали о том, не нужно ли их покормить, есть ли у них на ногах сапоги, — их просто ставили под мерку, и если они не подходили под нее, им говорили, что они не могут быть приняты. Спрашивали, сколько им лет, и если волонтеру было 17 лет и 9 месяцев вместо предписанных 18 лет, ему говорили, что он не годится и может идти, куда ему угодно. Организатору не было дела до того, что волонтер пришел издалека и не может возвратиться на родину; не было организатору дела и до того, что через три месяца волонтеру исполнилось бы 18 лет; не думал он и того, чтобы человек мог стать хорошим солдатом, хотя имеет роста только 5 футов 4¹/₂ дюйма вместо 5 футов 5 дюймов.

«Гарибальди, не бывший десять лет пьемонтским генералом, натурально, смотрел на дело иначе и всячески старался прекратить это педанство; его усилия были напрасны, потому что упорность организатора в педантизме укреплялась побуждениями самолюбия. По имени Гарибальди был вторым в команде, но в сущности сохранял преобладание над умами. По обыкновению, нашлись люди, постаравшиеся раздуть несогласие, и нужен был только повод к произведению кризиса. Повод был подан сближением романьольской армии с папскою, приблизившеюся к границам. Есть в Центральной Италии неаполитанские офицеры, сильно подозреваемые в сообщничестве с тайными французскими агентами. Эти люди [натурально, желают переворота в Неаполе и] почти все были замешаны в замыслы мяротивов. Они заслужили расположение правительства Центральной Италии всего более тем, что стали в оппозицию к Гарибальди. Самого Гарибальди предполагали находившимся в сношениях с республиканскою партией.

«Когда папские и национальные войска сошлись близко, был составлен план, чтобы Гарибальди посадил несколько человек на мелкие суда и сделал высадку в Анконе, где должно было произойти восстание. Французское правительство, узнав об этом плане, грозило занять Болонью, если произойдет что-нибудь подобное. План был оставлен; французскому правительству и всей Европе было говорено, что это намерение принадлежало Гарибальди, что он по внушению республиканцев хотел поднять восстание в южной Италии. Но я положительнейшим образом говорю вам, что эта мысль происходила не от Гарибальди, а от правительства Центральной Италии; когда они увидели неудовольствие Франции, они свалили этот замысел на Гарибальди. Факты были искажены, и он был выставлен человеком, желающим смут. К нему обратились с требованием, чтобы он не начинал военных действий, и он дал честное слово не делать ничего для поднятия восстания в южной Италии; но в то же время объявил, что не будет подражать генералу Меццокапо, который стоял с своими войсками неподвижно, когда Кальберматтен резал людей в Перуджии».

Мы видим, какие причины заставляли правительства Центральной Италии делать Гарибальди неприятности, понуждавшие его выйти в отставку: мелкая зависть посредственных людей к человеку, затмевавшему их своею популярностью; досада педантов на правителя, желающего мер,сообразных с обстоятельствами; всегдашняя ненависть умеренных людей к человеку, подозреваемому в образе мыслей более определительных. Для сардинского правительства Гарибальди был помехою в другом отношении. Он был неприятен для Франции, которая находила, что он готовит для Центральной Италии средства воспротивиться ее намерению. Она говорила Сардинии, что не может доверять

ей, пока она не разорвет своих двусмысленных отношений к людям, непокорным французской политике, не употребит своего влияния для удаления Гарибальди, служащего опорой таким людям. Это — факт очевидный. Но очень правдоподобно, что сардинское правительство и помимо требований Франции имело свои собственные причины желать удаления популярного генерала. Когда после несчастного дела о регентстве обнаружилось, что Сардиния не решается соединять свое дело с делом Центральной Италии, патриоты стали думать, что должны избрать какого-нибудь другого общего правителя, если сардинская династия отказывается от этого положения. Разумеется, уму всех представилось имя Гарибальди. Не только в Центральной Италии, но и во всей Европе явилась эта мысль у людей, желавших добра восставшим областям. Лорд Элленборо напечатал письмо, в котором советовал Тоскане, Романье и герцогствам передать Гарибальди верховную власть, отвергнутую Виктором-Эммануилом и принцем кариньянским. Times, служащая органом для мнений, господствующих в английской публике, повторила этот совет. «Если Наполеон III, — говорила она, — не позволяет Центральной Италии иметь правителем Виктора-Эммануила или принца кариньянского, то еще нельзя быть уверенным, что она будет приведена к согласию на возвращение австрийских эрцгерцогов. Быть может, она подумает, наконец, о том, нет ли между сынами ее человека вашингтоновской закалки, и обратит свои взоры на Гарибальди». Легко представить себе, какие чувства пробуждались в сардинских дипломатах такую мысль. Они все еще надеются, что если Центральная Италия и не будет присоединена к Пьемонту милостью императора французов, то конгресс согласится образовать из нее королевство, владетель которого будет в родственных отношениях к сардинскому королю и которое через несколько времени перейдет к Сардинии по праву династического наследства. Они льстят себя мыслью, что королевство это может получить принц кариньянский в награду за почтительность к Франции и к европейскому конгрессу; а если нет, то остается принц Наполеон, зять Виктора-Эммануила: известно, что назначить его королем Центральной Италии было бы приятно императору французов. Но если бы власть над Центральной Италией перешла к Гарибальди, эти надежды сильно <по>страдали бы. Очень может быть, что жители Центральной Италии не захотели бы менять такого президента или диктатора ни на принца кариньянского, ни на принца Наполеона, и сардинская династия осталась бы в проигрыше. Предположение, что сардинские политики могли желать отставки Гарибальди по этому расчету, только наша догадка; но читатель согласится, что оно очень правдоподобно. Как бы то ни было, были ли настояния центрально-итальянских правительств и требования Франции единственными причинами, по которым сардинское министерство хотело удалить Гарибальди, или к этим

побуждениям присоединялся в Турине и собственный расчет, но достоверно то, что сардинский кабинет решился избавиться от Гарибальди. Орудием в этом деле был избран Виктор-Эммануил, к которому Гарибальди чувствует личную приязнь за его храбрость и за его честность, с которой он, подобно самому Гарибальди, готов пожертвовать жизнью для уничтожения иностранного господства над Италией. По всем известиям надобно думать, что Виктор-Эммануил действительно человек очень почтенный; но он не берет на себя решение политических вопросов и слушает во всем совета государственных людей, составляющих его кабинет; он полагает, что они знают дела лучше, нежели он. Гарибальди был приглашен в Турин, и король, следуя желанию своих министров, просил его удалиться из Центральной Италии для блага общего дела, ход которого затрудняется присутствием генерала, внушающего недоверие императору французов и европейским дипломатам.

С удалением Гарибальди не только прекратилось развитие военных сил в Центральной Италии, но и существующее войско стало расстраиваться. Много раз только личное влияние Гарибальди успокаивало волонтеров, поставленных в нелепое положение жить в лагере без всякого дела. Теперь случаи нарушения дисциплины станут серьезны, и мы не замедлим услышать о расстреливании непокорных генералу Фанти. Несколько человек уже расстреляно. Такие отношения не могут привлекать новых волонтеров. Говорят, что и старые обнаруживают желание разойтись; но оставшееся начальство успокаивает итальянцев тем фактом, что с волонтеров при поступлении было взято обязательство прослужить не менее полутора года, и кто уйдет из лагеря раньше этого срока, будет расстрелян как дезертир. Зная причины, по которым Гарибальди ссорился с Фанти, можно предвидеть, много ли даровитых офицеров останутся в армии или сохранят свое влияние, лишившись главной опоры, которая защищала армию от плащ-парадной формалистики. Гарибальди убеждал своих сподвижников не удаляться вслед за ним; они сами хотели продолжать служить, пока могут. Но вот мы уже читаем, что некоторые из них выходят в отставку, объявляя, что невозможно служить при новых порядках, взявших перевес по удалении Гарибальди.

Повторяем то, что говорили уже несколько раз: при появлении явной опасности народный дух в Центральной Италии оживится, и когда гибель будет неизбежна, явится энтузиазм, и даровитые люди поведут героев умирать в безнадежной борьбе. Но время идет, а все не принимается надлежащих мер к тому, чтобы доставить патриотам средства начать борьбу с какими-нибудь шансами успеха, когда она станет неизбежной. Напротив, с каждым месяцем производятся перемены, ведущие к расслаблению и тех приготовлений, какие существовали. Исполнение ре-

шений конгресса облегчается с каждым месяцем пражителями самой Сардинии и Центральной Италии. Отставка Гарибальди — важнейший из этих фактов. Назначение Буонкомпаньи общим правителем Центральной Италии должно производить действие в том же смысле.

Мы уже говорили, что Буонкомпаньи, человек очень почтенный, до сих пор выказывал себя не имеющим ни распорядительности, ни энергии. Судя по всему, что он делал прежде в Тоскане во время войны, надобно думать, что он неспособен делать ничего, что нужно делать правителю в трудных обстоятельствах. Бесхарактерность и неспособность вновь выказалась им уже при деле о его новом назначении. Зачем он едет в Центральную Италию, какую власть будет иметь в ней? — Он будет общим правителем, но частные правители, Риказоли в Тоскане, Фарини в Романье и в герцогствах, сохраняют свою власть. Таким образом, Буонкомпаньи будет представлять собою только лишнюю правительственную инстанцию, которая может только мешать и задерживать, но не может ничего делать. Его назначение производит один результат: оно усложняет и запутывает существовавшие отношения. Тосканский правитель Риказоли долго не хотел признавать этой новой власти; после переговоров, нимало <не> разъяснивших дела, он уступил. Мог ли человек с характером принять положение, которым явно недоволен один из двух людей, называющихся прямыми помощниками общего правителя? По всей вероятности, Буонкомпаньи будет служить, против собственных намерений, лучшим орудием для приведения Центральной Италии к тому порядку дел, который решат ввести в нее Франция и конгресс.

Роль Франции на конгрессе достаточно определена всеми официальными объявлениями французского правительства и характером его действий на цюрихских конференциях. Чтобы напомнить читателю об отношениях Франции к австрийской и сардинской политике со времени Виллафранкского перемирия, мы приведем из Times'a письмо о французской политике на цюрихских конференциях.

«Ходит много рассказов о статьях трактата, невыгодных для Сардинии. Передаю вам некоторые из них. Не ручаясь за каждую подробность, могу вас уверить, что главные черты их справедливы.

«Во-первых, назначение г. де-Буркене уполномоченным само по себе считалось уже признаком намерения императора Наполеона благоприятствовать Австрии на цюрихских конференциях. Де-Буркене известен своими австрийскими симпатиями; сильные выражения принца Наполеона против ультра-австрийских стремлений французского уполномоченного приводятся в доказательство, что правительство, его назначившее, хорошо знало направление человека, которому поручало власть над переговорами. По всеобщим рассказам, де-Буркене вполне оправдал свою репутацию австрийского приверженца и на всех совещаниях защищал интересы Австрии с такою твердостью, как будто был австрийским уполномоченным; говорят, что сардинский уполномоченный встречал в нем едва ли не более сопротивления, чем в австрийском.

«Переговоры о Пескьере приводятся как поразительное доказательство тому; их излагают в следующем виде: когда начались споры о том, как велик должен быть район, принадлежащий к крепости по виллафранкскому условию, сардинский уполномоченный предложил определить его в 1.200 метров, — радиус, соответствующий дальности верного выстрела из 24-х фунтовой осадной пушки. Австрийский уполномоченный отвечал требованием радиуса в 5.000 метров, говоря, что такова дальность выстрела из новой нарезной пушки, которая теперь должна считаться основанием для разрешения таких вопросов. С общего согласия было положено выбрать какого-нибудь генерала, пользующегося авторитетом; чтобы он, как третейский судья, определил истинный смысл термина «район крепости». Согласились выбрать маршала Вальяна, известного знатока артиллерийской части, составляющей его специальность. Нельзя было опасаться, что он будет пристрастен в пользу итальянцев: известно, что он был против итальянской войны, и его нерасположение заниматься приготовлениями к ней заставило императора уволить его от должности военного министра. Маршал отвечал, что под районом крепости понимается гласис и так называемая «servitude militaire» крепости, то есть чистое место, оставляемое вокруг нее. Ширина этого места обыкновенно принимается в 500 и 600 метров. Таким образом, решение посредника наполовину сокращало район, предлагаемый Пьемонтом. Обе стороны предвительно согласились подчиниться решению посредника, и положение Сардинии становилось выгоднее, чем сама она ожидала. Французский уполномоченный помог Австрии, предложив район в 3.500 метров, и Сардиния принуждена была уступить. Если бы район был принят в несколько сот метров, холмы, окружающие Пескьеру, остались бы за Сардиниею, и Пескьера осталась бы, как теперь, небольшою, слабою крепостью, над которой с трех сторон господствуют не принадлежащие ей высоты. Но если эти высоты принадлежат Австрии, она может обратить Пескьеру в обширный укрепленный лагерь, владычествующий над Ломбардской долиной. Район в 3.500 метров, уступленный австрийцам, обнимает все эти высоты, и благодаря тому Пескьера остается плацдармом, из которого австрийцы могут дебушировать в Ломбардию.

«Жалуются также на решение денежного вопроса. 40 миллионов флоринов, прибавленных к собственно ломбардскому долгу и уплачиваемых теперь Австрии Пьемонтом, даны Австрии дружбою г. де-Буркене.

«Я думаю, что слухи, приписывающие такое сильное влияние мыслям этого дипломата, преувеличены. Я верю, что г. де-Буркене любит австрийцев больше, чем сардинцев; такое настроение мыслей не редкость между французскими государственными людьми. Но я не думаю, чтобы император французов оставлял своего уполномоченного без очень точных указаний по каждому случаю.

«Теперь называют следствием ошибки то, что по виллафранкским условиям были оставлены за Австрией три округа Мантуанской провинции, лежащие на правом берегу По. Но император, который провел много лет своей жизни в Италии, должен был очень хорошо знать, что Боргофорте, Гонзаго и Сермиде лежат на правом берегу По; тем удивительнее было бы ему не знать положения этих местностей, что они находятся близ Мантуи, осаждать которую готовились французы. «Ошибка», по которой эти округа на правом берегу По были оставлены за австрийцами, дает Австрии на По и на Минчио простор наступать на Ломбардию».

Хорошим указанием на то, каковы будут решения конгресса, надобно также считать выбор первого уполномоченного, которого будет иметь на нем Англия. Читатель знает, что составление конгресса замедлялось больше всего разногласием между Франциею и Англиею во взгляде на права конгресса относительно жителей Центральной Италии. Англия говорила, что державы, со-

ставляющие конгресс, одним из оснований для его совещаний должны признать право итальянцев располагать своею политическою судьбою, как им самим угодно. Франция говорила, что признать за ними этого права нельзя, что конгресс может определить их судьбу по своим соображениям, не стесняясь тем, согласны или нет эти соображения с желанием самих итальянцев. Как и чем кончилось это разногласие по форме, мы не умеем сказать: подлинные документы еще не обнародованы; но каковы бы ни были выражения, на которых Англия согласилась с Францией по спорному вопросу, и было ли устроено соглашение в нем, это все равно, потому что сущность дела хорошо видна из фактов. Они показывают, что Англия отказалась от мысли привести конгресс к принятию своего воззрения и что конгресс удерживает за собою право руководиться своими собственными соображениями, а не намерениями жителей Центральной Италии. Такой характер дела обнаруживается, во-первых, тем, что перед самым временем, когда английское министерство согласилось на участие в конгрессе, английские газеты говорили, что Англия не должна в нем участвовать; из этого видим, что английское министерство не имело тогда возможности провести свой взгляд. Когда Англия объявила, что участвует в конгрессе, английские газеты стали требовать, чтобы уполномоченным поехал лорд Пальмерстон, пользующийся репутациею самого искусного дипломата; тогда мы будем знать, говорили они, что если он будет принужден удалиться из конгресса по несогласию с его направлением, то уже действительно никакое дипломатическое искусство не могло придать делу другого оборота и охранить Италию от вооруженного вмешательства. Но министерство назначило первым уполномоченным не Пальмерстона и не лорда Джона Росселя, министра иностранных дел, и даже не лорда Кларендона, который после них пользуется наибольшим значением в иностранной политике, а только лорда Коули, английского посланника в Париже, дипломата второстепенного. Официально приводились благовидные объяснения такому выбору: лорд Пальмерстон — первый министр, а до сих пор не бывало примеров, чтобы первый министр уезжал за границу; лорд Россель занят приготовлением билля о парламентской реформе, должен внести его в парламент и защищать в то самое время, когда соберется конгресс. Однако даже в официальных объяснениях есть намек на действительную причину неудобства посылать в Париж одного из главных государственных людей: лорд Россель, говорят полуофициальные английские газеты, выражал свое мнение о праве итальянцев независимо располагать своею судьбою с такою резкостью, которая делала бы неловким его положение на конгрессе. Но всем в Лондоне известно, что было у министерства и другое соображение, которое еще ярче обнаруживает, что Англия отказалась от надежды удержать конгресс от дипломатического распоряжения участыю Централь-

ной Италии. Министерство руководилось желанием произвести как можно меньше напрасного шума в случае удаления Англии из совещаний конгресса и желанием по возможности ослабить дипломатическую важность самого конгресса. Величественность его более всего зависит от того, как смотрит на него Англия, потому что она одна из великих держав открыто расходится в итальянском деле с Франциею, так что конгресс устраивается, можно сказать, собственно для нее. Назначая своим уполномоченным такого второстепенного дипломата, как лорд Коули, она показывает, что не придает конгрессу высокой важности и низводит его почти до степени простых конференций. Кроме того, лорд Коули постоянно живет в Париже, где должен происходить конгресс, потому Англия может говорить, что присутствие его на конгрессе вовсе не свидетельствует о том, чтобы она сколько-нибудь интересовалась конгрессом; ее уполномоченный как будто просто делает визиты своим товарищам по дипломатическому корпусу, когда является в их собрание, а когда он перестанет участвовать в конгрессе, это просто будет иметь такой вид, как будто он случайным образом не имел времени или охоты продолжать визиты, которые делал прежде, имея больше досуга. Словом сказать, назначение лорда Коули первым уполномоченным имело тот характер, что Англия хочет принимать в конгрессе наименьшее возможное участие и придавать ему наименьшее возможное значение. Конечно, она прибегла к этой системе только потому, что не имеет никакой надежды провести на нем свой взгляд. Действительно, до начала совещаний конгресса еще далеко, а нам объясняют, что он не только намерен располагать судьбою Италии по своему усмотрению, но и почтет себя имеющим право исполнять свои решения посредством вооруженного вмешательства.

Впрочем, не надобно сомневаться в том, что он будет рекомендовать итальянским правительствам произведение тех благотворных реформ, которые будут согласны с сохранением власти законных правительств. Стеснять правительства в этом случае, конечно, было бы нарушением должного уважения к ним, и исполнение советов будет предоставлено решению их собственной просвещенности и заботливости о благе подданных. К сожалению, часто оказывается в подобных случаях, что самые дружественные иностранные правительства не могут обсуживать положения дел в государстве, к которому относятся их советы, так хорошо, как правительство, получающее советы. Оно часто принуждено бывает отвечать советникам, что предполагаемая ими надобность в реформах не существует, или предлагаемая реформа не сообразна с благотворными принципами, которых оно держится. В настоящем случае советы будут обращены к неаполитанскому, а главным образом к римскому правительству. Римское правительство уже заранее объяснилось перед Европою об этом деле. Валевский,

министр иностранных дел во Франции, написал циркуляр к французским послам при иностранных дворах, излагая советы, которые вот уже 11 лет дает французское правительство папскому и которые, без всякого сомнения, будут повторены конгрессом. Из этого возникли слухи, что римское правительство решилось произвести требуемые Францией реформы. Тогда в официальной римской газете явилось краткое извещение о неосновательности таких слухов, а во французской газете L'Univers, служащей органом римского двора, была напечатана статья, замечательная по своей откровенности. Мы приводим перевод ее, потому что правдивость вообще нам нравится, хотя бы содержание правдивых объяснений и не соответствовало нашим понятиям.

«Ничто не может (говорит L'Univers) внушить верующим столь живого порыва любви к святейшему отцу, как мысль о скорби, которая должна была обнять его при чтении циркуляра г. министра иностранных дел от 5 ноября к французским дипломатическим агентам. Все европейские газеты перепечатали этот акт, который, говоря о реформах, предположенных святейшим отцом к дарованию его подданным *в удобное время*, прибавляет, что эти реформы «будут иметь следствием предоставление жителям светского управления, дарование им гарантий лучшего правосудия и контроля над финансовым управлением посредством избирательного собрания». Жесткость этой фразы поразила всех.

«Можно было бы написать, что есть в городах римского государства небольшое число адвокатов, мелких купцов, лекарей, лавочников и празднующихся, которые требуют не лучших, но более сообразных с учреждениями других стран или мечтами этого меньшинства учреждений в администрации, юстиции и финансовом управлении. Но прилично ли и полезно ли было наперед говорить, что учреждения, еще не существующие, будут лучше существующих, и подвергать таким образом святейшего отца упреку столь суровому, столь прямому, столь незаслуженному?»

«Католики думают, что духовные лица всегда судили, судят и будут судить справедливо, нежели судил, судит и когда-либо будет судить их свет.

«Говоря о реформах, которые должны быть введены в управление святейшего отца, обыкновенно произносят слова: Наполеоновский кодекс, светская администрация и пр. Я не буду входить в подробности о том, какие изменения возможны в настоящем управлении: все возможное решено сделать. Но я говорю, что Наполеоновский кодекс написан в духе, совершенно противоположном сущности римского управления, написан для системы нравов, идей, потребностей, диаметрально противоположных ему. Управление святейшего отца есть управление особенного рода. Не уничтожившись, оно не может быть согласено с условиями французского гражданского кодекса.

«Принципы французских законов, объявляющих католическую религию не государственною религиею, а только религиею большинства французов, провозглашающих свободу других исповеданий, объявляющих брак гражданским учреждением, не могут быть применены к Риму. Высокпреосвященные кардиналы Барнабо, Марини, Антонелли, Вифонди и Мертель, которым святейший отец предварительно поручил положить основание общей кодификации гражданских законов, соединяют с обширнейшими юридическими знаниями возвышеннейшее чувство христианского достоинства и поэтому тщательно сохраняют все элементы, насажденные в римских нравах мудростью католической церкви. Неужели необходимо для блага народа, чтобы они были подчинены уровню одинаковых законов, и красота их совокупности разве не происходит от различия в их обычаях?»

«Что касается секуляризации, она никогда не может достичь до совершенного уничтожения духовного элемента в управлении, как требуют рефор-

маторы. Духовному элементу принадлежит престол в Риме. Его двойственная власть разделяется на две части только в отвлеченной теории; на факте обе части составляют одно. Это то же самое, как в обыкновенном короле не могут быть разделены власть гражданская и власть военная. В 1856 году число чиновников духовного звания было 124, а светских — 6.854. В последние три года эта цифра 124 еще уменьшилась; в удобное время она будет еще уменьшена. Можно ли не понимать намерения людей, утверждающих, что этим нельзя удовольствоваться?»

Римский двор обвиняют в коварстве. Нам кажется, что после подобных объяснений с его стороны говорить о его недобросовестности значит только показывать свое неумение отрешаться от собственных самообольщений. По нашему мнению, в итальянском вопросе и Франция, и Австрия, и Рим, и Неаполь нисколько не скрывали своих намерений, и кому угодно будет находить, что развязка дела, — когда дело развяжется, — оказалась несоответственной его ожиданиям, тот сам обманывал себя, а не был обманут другими.

Мы скажем это не только об итальянском вопросе, но также и об австрийских делах, которыми довольно сильно интересовалась Европа в последние два месяца. Так называемые просвещенные и благонамеренные люди в Западной Европе в один голос твердят теперь, что Австрия очень скоро должна подвергнуться коренному преобразованию, которое произойдет путем неправильным, если австрийское правительство не поспежит произвести его путем законным. Нам кажется, что такое мнение ошибочно.

[Многочисленные друзья, которых имеет у нас Австрия, очень смущены известием, будто бы этому примерному государству угрожает распадение]. Газеты наполнены предвещаниями очень тревожными для австроманов: они уверяют, что во всех провинциях империи владычествует недовольство, что Венгрия не нынче-завтра восстанет, что даже Тироль, до сих пор столь верный, ропщет, что сама Вена стала неприязненна. Все это было бы еще не так важно с австрийской точки зрения, если бы в казне были деньги [тогда было бы можно набрать побольше войска и усмирить непокорных]; но главная беда в том, что денег нехватает даже на содержание войска, и говорят, будто бы неоткуда достать их, потому что кредит Австрии совершенно упал. [При всем нашем пристрастии к прекрасному австрийскому порядку мы не будем скрывать от читателя этих прискорбных фактов, но смело скажем в свое утешение, что порицатели Австрии] напрасно выводят из них убийственное для наших чувств заключение, будто бы Австрии в самом деле угрожает падение. [Мы не видим, какое основание имеют они для столь зловещего предвещания]. Во всех провинциях империи владычествует неудовольствие, — но что ж тут необыкновенного? Оно повсюду владычествовало в Австрии с давних пор. Денег нет? государству грозит банкротство? — И это — не новость. Денег никогда не было у австрийского правительства, банкротству подвергалось оно несколько раз и все-

таки, как видим, продолжало себе существовать наперекор всеобщему неудовольствию и собственному безденежью. Вот что один из русских дипломатов писал об Австрии еще в начале нынешнего века, незадолго перед войною 1805 года: «С первого же взгляда видно, что Австрийская империя совершенно распадается: министры ее бездарны, финансы находятся в величайшей запутанности, армия лишена всякого доверия к своим генералам и офицерам, потому и к себе самой. Аристократы необразованы, не имеют никакой благородной мысли, никакой нравственной силы. Талантливых людей совершенно нет». Можно было бы привести много таких отзывов об Австрии, сделанных пятнадцать, тридцать, пятьдесят и, если угодно, сто лет тому назад. Австрия всегда казалась умирающею, готовою разрушиться и, однако же, просуществовала до сих пор, и нет причины ей не пережить еще много и много лет [несмотря на все признаки скорой смерти]. Мы после изложим соображения, внушающие нам эту, [отрадную надежду], а теперь перечислим факты, повидимому, противоречащие ей. Мы не ждем от них скорого падения Австрии, и они интересны для нас только в том отношении, что нынешние газетные толки о них представляют довольно забавный контраст с доверием, какое год тому назад имели те же самые газеты к [австрийскому самохвалству] о благодетельных реформах, будто бы произведенных австрийским правительством после 1849 года.

[Мы начнем именно с этого самохвалства]. Благодаря отчасти славянофилам, отчасти людям, которые интересуются судьбою славянских племен, не будучи славянофилами, наша публика знала об австрийском деспотизме в славянских областях; притом разные политические столкновения по турецким и другим делам приучали нас смотреть на Австрию как на недоброжелательницу России [потому австрийское самохвалство находило в нас меньше готовности верить, чем в западных народах]. Но и у нас до итальянской войны постоянно говорили о финансовой мудрости знаменитого Брука, о быстром развитии промышленных и всяких других сил Австрии, благодаря мудрой политике правительства. В Западной Европе всему этому верили больше нас, и австрийское правительство считалось благоразумным, просвещенным, прогрессивным. Либералы говорили, что оно действует деспотически, но сознавались, что под деспотическою формою лежит забота о замещении отживших и вредных средневековых учреждений новыми,сообразными духу времени. В пример тому, каким вещам верила Европа, мы приведем несколько слов с первых страниц книги чрезвычайно основательной, набитой официальными актами и статистическими данными; она принадлежит знаменитому австрийскому ученому, барону Чорнигу, «оказавшему бессмертные услуги статистике и этнографии», и называется «Oesterreich's Neugestaltung, 1848—58». Почтенный автор начинает свою основательную книгу следующим очерком:

«Сильное потрясение, произведенное фазисом европейского развития в 1848 и 1849 годах и подвергнувшее организм Австрийской империи огненному испытанию, имело своим последствием очищение и преобразование всех общественных отношений.

«Прежнее устройство Австрийской империи приносило великие выгоды существованию империи, во всех политических кризисах являясь прочною опорой короны; но оно ослабляло материальное развитие империи и затрудняло монарху верховное управление делами. Ленное устройство, на котором основывался прежний порядок, давно отжило свой век, потому и форма, соединявшая австрийские области, пережила свое время. Неудержимо распространяющиеся идеи века полкопали основу этого порядка дел и в сфере теоретического исследования, и в области практических преобразований, когда форма разрушилась как бы от одного дуновения. Учреждения, победоносно выдержавшие вековую борьбу, не упали бы мгновенно под едва заметным плесканием волн прилива, если бы корни их не засохли. Но отпадение изменчивой оболочки не коснулось существенного зерна. оно возникает в свежих силах из великой реформы государственного преобразования.

«История железным резцом начертала события на своих скрижалях; много было разочарований; из многих ран еще струится кровь. Уже окрепшая государственная сила отнимает у нарушителей спокойствия надежду на исполнение их планов и внушает желающему спокойствия и порядка гражданину твердую надежду в прочность порядка. Но в массе народа должно распространиться убеждение, что его нравственные блага — язык, литература, наука и искусство, так же как и материальные блага, лучше охраняются и развиваются упорчением общественного порядка при нынешних соответствующих духу века учреждениях, нежели в хаосе политического волнения или под олигархическим владычеством слабых республик; должно распространиться убеждение, что эти блага находятся не в противоречии, а в теснейшей связи с стремлениями всех монархических правительств».

Из этого видно, какой характер приписывало себе австрийское правительство в последние годы: оно говорило, что борется против остатков феодального порядка вещей, хочет привести учреждения Австрийской империи в соответствие с духом века. Ропот провинций возникал единственно от людей, слепо привязанных к рутине и не умевших понимать, что истребление средневековых форм вовсе не враждебно развитию национальностей, а, напротив, должно послужить для них источником безопасности и укрепления.

Стоит только пересмотреть книгу Чорнига, чтобы найти сотни фактов, победоносно разрушающих всякое возражение против благонамеренности или просвещенности австрийского правительства. Мы возьмем на пробу один вопрос. Враги Австрии утверждали, будто бы ее правительство враждебно просвещению. Это совершенная клевета, судя по фактам, приведенным у Чорнига. Начать с того, что после 1849 года было учреждено особенное министерство народного просвещения, — «что показывало сознание необходимости полного преобразования по этой части; деятельность и благоразумию министра графа Туна удалось в несколько лет придать всему новую жизнь». Прежде, по словам Чорнига, университеты находились в дурном положении; они преобразованы по образцу лучших немецких; сословию профессоров

теперь дано почетное и независимое положение, введена свобода преподавания, усилен вообще научный элемент; учреждены при университетах институты для образования преподавателей. Для обширной Венгрии было недостаточно одного университета, существовавшего в Пеште; потому были возведены на степень высших учебных заведений, увеличены в размере и получили щедрые штаты прежние ничтожные академии в Пресбурге, Раабе, Кашау, Гросвардейне, Дебречине, Аграме и Германштате. Для того, чтобы государство имело просвещенных чиновников, учреждены при университетах комиссии, подвергающие экзамену людей, желающих поступить на службу. «Благодаря преобразованию университетов, неусыпной заботе о приобретении хороших профессоров и приглашению ученых знаменитостей из других немецких земель, — говорит Чорниг, — умственная жизнь получила новое развитие: это — факт, не подлежащий спору». Точно так же усилены были средства ученых академий, деятельность которых в последнее время стала очень плодотворна. «Особенно должно сказать это об императорской венской академии наук, основанной в 1847 году и с 1848 года развившей свою деятельность плодотворным образом». В 1851 году был учрежден при ней центральный метеорологический институт. «Гимназическое преподавание (продолжает Чорниг) было преобразовано, как и университетское. Оно получило более основательности, так что требования от учащихся сделались строже, и гимназии стали в уровень с потребностями общего научного образования». Были составлены хорошие учебники, приобретены хорошие преподаватели учреждением институтов и особенных испытаний. Для технического образования учреждены реальные школы. В конце 1857 года считалось уже 24 высших и 142 низших реальных школы. Улучшены были и первоначальные училища, составлены для них лучшие учебники, увеличено жалованье их учителям. Словом сказать, куда ни посмотришь, везде многочисленные улучшения. Особенную заботу правительства, по словам Чорнига, составляет в деле преподавания охранение прав национальностей. За каждым племенем признано право требовать, чтобы его дети получили общее образование на собственном языке. Потому в каждом месте элементарное преподавание производится на том языке, которым говорит большинство жителей. В гимназиях также оно производится на местных наречиях. Есть гимназии чешские, словацкие, польские, сербо-кroatские, мадьярские и русинские. Какой обширный размер получило народное образование в Австрии, можно видеть по числу учебников, требуемых первоначальными училищами. Те же цифры могут показать, как правительство помогает развитию национальностей. В 1856 г. экспедиция учебников продала 2.534.000 учебных книг для первоначальных школ. В том числе было 1.076.000 на немецком языке, 706.000 — на славянском, 545.000 — на итальянском, 23.000 — на восточно-

румынском, 184.000 — на мадьярском языке. О том, как процветает в Австрии литература и как быстро она развивается, можно судить по громадному количеству ежегодно выходящих книг. Кроме 455 журналов и газет, в 1855 году в Австрии было издано 6.244 книги, имевшие в сложности 85.952 печатных листа. В том числе было: на немецком языке 1.806, на итальянском — 1.497, на мадьярском — 640, на чешском — 208, на латинском — 187, на польском — 116, на сербо-кroatском — 60, на словенском — 41, по 30 — на еврейском и французском, на румынском — 25, на рутенском — 13, на армянском — 9, на старо-славянском — 5, на английском — 4 и по одной — на греческом и испанском языках.

Какой отрадный отчет! А между тем дело просвещения — еще самая отсталая часть государственной австрийской жизни. Каковы же должны быть усовершенствования в других частях? И действительно, читая книгу Чорнига, испытываешь то чувство, которое так хорошо выражает у Гоголя одно из действующих лиц словами: «душа радуется, дух торжествует». Огромное большинство просвещенных людей в Западной Европе [при обыкновенной своей склонности верить так называемым документам и официальным цифрам,] до последнего времени восхищалось новым развитием Австрии, и даже у нас, как мы заметили, слышались похвалы финансовой мудрости Брука. Чтобы верить и восхищаться, нужно было только забыть о существенном характере австрийского правительства.

Кто помнил его характер, всегда знал очень хорошо, [может ли быть хоть капля правды в его похвалах себе,] может ли оно сделать какое бы то ни было действительное улучшение, может ли оно управлять хотя так, чтобы положение дел не становилось год от году хуже. Вспомним происхождение нынешней Австрии. Она возникла через подавление восстаний почти во всех своих провинциях. Прежде всего была бомбардирована Прага и объявлена в осадном положении Богемия; потом Радецкий восстановил австрийское господство в Ломбардо-Венецианском королевстве. Виндишгрец, прославившийся отличным исполнением бомбардирования Праги, был избран для совершения того же процесса над Веней, и эрцгерцогство австрийское было подвергнуто осадному положению, по примеру Богемии, Ломбардии и Венеции. То же было в Галиции; потом дошла очередь до Венгрии. Усмирить Венгрию помогали южные славяне; а когда Венгрия была побеждена, приняты были меры для подавления неприятных стремлений и у южных славян. Итак, австрийское правительство должно было держаться исключительно военным деспотизмом. И вдруг нам стали говорить, что неудовольствие в побежденных областях ослабло или уничтожилось. Можно ли было этому верить? Когда военный деспотизм имел дар вливать довольство в недовольные умы, заменять ненависть любовью? Нам стали говорить, что

произведены мудрые реформы. Но всякая реформа, заслуживающая своего названия, основывается на расширении свободы или ведет к ней. Возможно ли, чтобы военный деспотизм допустил расширение свободы, когда он существует именно только для ее подавления и посредством ее подавления? Из этого можно было с достоверностью заключить, что все так называемые австрийские реформы по необходимости были пародиями на реформы или прикрывали именем реформ введение реакционных мер; можно было видеть, что если когда-нибудь австрийскому правительству хотелось сделать что-нибудь действительно доброе, оно не имело силы сделать то, чего хотело, будучи противоположно с основным условием всякого действительного добра. Можно было видеть, что даже подобные бессильные попытки по необходимости играли слишком ничтожную роль среди бесчисленных распоряжений, вызываемых прямо потребностью военного деспотизма. Нам стали говорить, что приняты прекрасные меры для введения порядка в австрийских финансах. Но могут ли быть приведены в порядок финансы при военном деспотизме, когда первая забота должна по необходимости состоять в содержании возможно большего количества войск, когда нужно думать только о том, чтобы набрать как можно больше денег и все собираемые деньги тратить на военные расходы, не знающие никаких пределов? Из всего этого естественно возникло такое понятие о ходе австрийских дел в последние годы: ни одна из потребностей, неудовлетворенность которых произвела волнение 1848 г., не могла быть удовлетворена; люди с либеральным образом мыслей, будучи предметом подозрения и преследования, должны были питать к австрийскому правительству и личную ненависть за свои неприятности и несчастья, и гражданскую ненависть за его реакционный деспотизм; люди с консервативными желаниями были раздражаемы бесчисленными переменами, от которых разрушались прежние учреждения и привычки, заменяемые новым порядком, при котором было еще меньше места свободе, нежели при прежнем; консерваторы и прогрессисты одинаково страдали от чрезмерного увеличения податей, изнуравших всю массу населения; таким образом, недовольство и расстройство должны были расти с каждым годом¹.

Для человека мыслящего это всегда должно было казаться несомненным фактом; последняя война обнаружила его для всей Европы. Ободренные внешними неудачами, недовольные отважились говорить несколько громче прежнего, и ропот заглушил прежнее самохвальство. Австрия уверяла, что даже венгерские провинции примиряются с нынешним порядком вещей; вместо того оказалось, что даже вернейшая из немецких областей — Тироль негодует на притеснения. Вот что писал, например, англичанин, посетивший Тироль в августе и сентябре нынешнего года:

«В последнюю свою поездку по Тиролю я заметил в народе чувства, которые сильно удивили меня. Будучи хорошо знаком с нравами и обычаями страны и с областным наречием, я мог узнать состояние страны лучше, нежели обыкновенные путешественники. Я старался познакомиться с общественным и политическим состоянием этой важной области Австрийской империи после великих событий последней итальянской войны и потому сблизился с людьми, от которых можно было получить нужные сведения, — с приходскими священниками, с лицами городского начальства, с бюргерами и т. д. (дворянства в Тироле нет).

«В противоположность фанатической ненависти к Франции, какая господствует в Баварии и мелких немецких государствах, здесь я нашел очень верные суждения о той пользе, которую принесла Австрии война, и многие прямо выражали мне свое сожаление о том, что не были побиты гораздо больше.

«К нынешнему правительству нет ни в ком ни малейшего доверия. Правительство, вероятно, сделает большие обещания и, по обыкновению, не сдержит их или постарается обмануть народ полумерами, — вот чего «надеются» в Тироле. Когда один офицер сказал мне это и когда я спросил его, почему же такие мысли называются надеждой, он отвечал мне: «потому, что если так будет, не пройдет пяти лет, как народ сам возьмет себе то, чего просит теперь». Страшное состояние австрийских финансов деморализирует все сословия общества, и в Австрии происходит брожение, подобное тому, какое предшествовало первой французской революции, — и поверьте мне, когда вспыхнет в Австрии революция, она так же будет иметь кровавые эпизоды. На армию нельзя несколько полагаться: солдаты раздражены презрением и нераспорядительностью во время итальянского похода и дурным обращением с ними. Я посещал в Инсбруке раненых и слышал от них страшные рассказы о небрежности администрации относительно их. После Сольферинской битвы в Вероне было приготовлено только тысяча кроватей для раненых, и один солдат уверял меня, что чувство недовольства было так сильно, что будь еще другая такая битва, вспыхнула бы военная революция. Эти факты поразительны, и меня уверяют, что точно такое же чувство господствует во всех австрийских владениях; что все ждут раньше или позже страшного взрыва, который истребит бесчисленные злоупотребления, пожирающие всю жизненную силу этих прекрасных стран. К удивлению, я нашел, что приходское духовенство имеет очень прогрессивные и даже демократические принципы, — факт необыкновенно важный при громадном влиянии, которым пользуется оно в простом народе.

«В простом народе недовольствие еще больше. Поселянин обложен подачками, несообразными его средствам. Результат этого дурного управления — страшная бедность, без надежды на облегчение, и знаменитая верность тирольских поселян подвергнута правительством слишком сильному испытанию. Очень трудно было собрать стрелков для защиты тирольских границ во время войны; когда их стали собирать, они долго не хотели идти. Повсюду с громким ропотом говорят о том, что надобно созвать представителей Тироля, которому так давно было обещано представительное собрание».

[Мы хотели сначала исчислить все признаки распада, которое будто бы угрожает Австрии, и потом уже сказать, почему не выводим из этих фактов зловещих предсказаний, которые делаются многими. Но тон переведенного нами письма так силен, что мы не удерживаемся от желания теперь же высказать часть оговорок, которые хотели отложить до конца.] Мы охотно верим всему, что сообщает английский корреспондент; мы уже говорили, что много положения дел невозможно и предполагать. Положим, что недовольно духовенство, недовольны горожане и поселяне, недовольны все сословия; предположим, что опаснее всего существ-

вование величайшего недовольства в самой армии, — но что тут важного? Если поселяне и горожане захотят возмутиться, против них пошлют войска, [перебьют военным образом столько недовольных, сколько понадобится, из остальных перевешают, расстреляют и рассажают по тюрьмам нужное количество] — вот и все. Но сами войска возмутятся? — Ну, это не так правдоподобно, как войска думают. Военная дисциплина дает такую силу над руками выстроенных в ряды людей, что лишь оставались бы верны главные командиры и хотя немногие офицеры, — все недовольные офицеры, сколько б их ни было, будут арестованы теми самыми солдатами, в пользу которых хотели бы они действовать, и батальоны пойдут против инсургентов, хотя бы каждый человек в этих батальонах выражал прежде сочувствие инсургентам и обещался не употреблять против них своего штыка. Если бы даже некоторые полки успели возмутиться, они будуг усмирены другими. Это не раз бывало и не раз повторится. [Вообще, нет ничего забавнее, как читать рассуждения легковерных людей о силе общего неудовольствия, о ненадежности войск и так далее. — Это — вечная басня о мышах, собиравшихся хоронить кота]. Но бывали же, скажут нам, примеры удачных восстаний? Бывали, но так редко, что нужно рассудительному человеку слишком и слишком много фактов, и кроме того нужно возникновение совершенно особенных обстоятельств для пробуждения в нем ожиданий подобного события. Вот иное дело, если б итальянская война протянулась еще несколько месяцев, — тогда, разумеется, вспыхнуло бы восстание в Венгрии, распространилось бы, вероятно, и по другим провинциям; а теперь не стоит и толковать о таких пустяках. Горючий материал есть — как не быть ему; но погода вообще такая сырая, что пламя вспыхнуть никак не может, а только идет в промокшей массе медленное гниение. Возвратимся же к симптомам этого гниения, которые многими принимаются за предвестие пожара, между тем как мы думаем, что прекращением итальянской войны опасность пожара и для Австрии, и для некоторых других земель Западной Европы отсрочена впродолжение до какого-нибудь другого экстренного случая.

Во время итальянской войны опасность восстания ближе всего была в Венгрии: еще лишь несколько недель, и Кошут снова грозил бы Вене или, лучше сказать, венскому правительству, а сама Вена с нетерпением ждала бы венгров, которые явились бы к ней, быть может, вместе с южными славянами, погубившими и венгров, и самих себя в 1848 году тем, что понадеялись тогда на обещания австрийского правительства; а как скоро мир был заключен, опасность венгерского восстания миновала. [Мы уже говорили читателям, что рассматриваем австрийские дела со стороны их забавности, если может быть забавна нелепость, которая разоряет, держит в порабощении, нищете и невежестве несколько десятков миллионов людей. Но дела на свете идут так дико (впро-

чем, совершенно натурально), что надобно умереть с досады, если не помирать со смеху. Мы советуем читателю избрать последнее: оно гораздо лучше оправдывает апатию. «Почему вы ничего не делаете?» — Помилуйте, как же я стану делать что-нибудь, если дело кажется мне мелочно смешным», — это прекрасный ответ². Итак, будем же смотреть со смехом на все то, чего переделать или уничтожить не можем. Смотря таким образом на австрийские дела, мы находим едва ли не самую забавную чертою их то, что] глубокомысленные люди начали рассуждать о страшном недовольстве венгров будто нарочно с той самой минуты, когда оно перестало быть страшным. Во время войны благоразумные люди называли Кошута фантазером за то, что он указывал на готовность венгров восстать против австрийского ига: «помилуйте, венгры довольны нынешним положением, — говорили благоразумные люди: — они не пойдут за Кошутым». Оно и натурально было думать так: шум войны заглушал все, потому не слышно было ничего из Венгрии, стало быть, и казалось, что Венгрия тиха и довольна. Но вот война прекратилась, скучные цюрихские конференции, робкие действия временных правительств Центральной Италии и споры о том, как составится конгресс, не могут достаточно занять собой праздного внимания; все начали присматриваться, не найдется ли где-нибудь какого-нибудь развлечения от скуки, и вдруг — о, удивление! о, радость людям благородного образа мыслей! — открывается, что Венгрия недовольна [что она говорит о восстании]. В восторге от такой находки не потрудились даже разобрать, что громкий ропот ее ныне составляет лишь [затихающий постепенный] отголосок [грозных] ее приготовлений подняться при появлении Кошута. Все начали толковать о Венгрии в то время, когда исчезла для нее возможность стать действительно опасной для австрийского правительства. Чтобы не отстать от других, поговорим и мы о венгерских делах теперь, когда, собственно, не стоит говорить о них.

Читатели знают, как облагодетельствованы были венгерские протестанты новыми льготами и как они неблагодарно объявили, что таких льгот не хотят и принимать. Им, наконец, запрещено было собираться и протестовать; но они продолжали делать то и другое. В адресе одного из протестантских собраний были недавно употреблены даже слова, что подписавшиеся «готовы жертвовать жизнью и кровью (Leben und Blut) за возвращение полной свободы своему исповеданию». Не менее шума наделала просьба студентов Пештского университета о том, чтобы лекции в нем читались не на немецком, а на венгерском языке. Само собою разумеется, что за такую дерзость студенты наказываются, как и следовало. Протестация нескольких лютеранских священников и просьба нескольких студентов — события, как видим, достойные занимать собою Европу. Что далее? Далее венгерцы, видя, что Германия собирается праздновать столетнюю годов-

шину рождения Шиллера, вздумали отпраздновать такую же столетнюю годовщину рождения одного из своих поэтов³. Это еще не все. Венгерские магнаты, из которых иные жили в Вене, иные в поместьях, вздумали, что надобно возвысить значение национальной венгерской столицы, и начали переселяться в Пешт, чтобы оживить его померкнувший блеск своею пышностью. Факты тоже необыкновенно значительные. Далее, было несколько обедов по разным случаям: по случаю юбилея католического примаса Венгрии, по случаю открытия музея в Клаузенбурге и т. д. Обедавшие, очень знатные и почтенные люди, пили на этих обедах за здоровье Франца-Иосифа, «короля венгерского», то есть намекали, что желают восстановления независимости венгерского королевства. Факты, которые тоже необыкновенно важны. Что далее? Далее ничего другого замечательного не случилось. Но читатель видит, что и так уже набралось довольно фактов, чтобы привлечь на Венгрию внимание Европы. Европа нашла, что венгры очень раздражены против Австрии. Мы об этом распространяться не будем, а лучше обратим внимание на факт, который, быть может, известен не всем нашим читателям и который один представляет собою некоторое ручательство за лучшую будущность земель, составляющих ныне восточную половину Австрийской империи. Славяне, населяющие южную полосу их своею враждою с венграми в 1848 году навлекшие на себя и на венгров австрийское иго, начинают понимать, что только союз с венграми может спасти их. Вот отрывок из письма венского корреспондента Times'a:

«Лица, недавно посещавшие Сербскую Воеводину, Трансильванию, Славонию и Кроацию, говорят, что жители этих провинций почти столь же недовольны, как венгры. Покойный бан Елачиц торжественно обещал южным австрийским славянам, что они будут награждены за свою верность в 1848 и 49 годах; но барон Бах делал невозможным исполнение этого обещания. Несколько лет тому назад Елачиц говорил мне, что Австрийская империя «пойдет к чорту (wird zum Teufel gehen), если Баху дадут продолжать свои гадости». Главная причина неудовольствия южных славян та, что они принуждены теперь платить больше податей, чем до 1849 года, когда Кроация, Славония, Банат и Сербская Воеводина были соединены с Венгрией. Способ собирания податей сильно увеличивает неудовольствие славян и венгров, горько жалующихся на произвол и придиричность финансовых чиновников. [Вот анекдот, который дает вам некоторое понятие о способе ведения дел в Венгрии. Купец, который платил торговой пошлины по 800 флоринов в год, получил извещение, что должен платить по 2.000 флоринов. Он жаловался, просил, чтобы рассмотрели его торговые книги; на его просьбу согласились и, рассмотрев книги, понизили пошлину до 1.100 флоринов. (Находясь в расположении смотреть на все с забавной стороны, посмеемся над тупоумием англичанина, которому такой случай представляется доказательством угнетения и произвола. По нашему взгляду, следовало бы купца за жалобу посадить в тюрьму, а по выпуске из тюрьмы сказать ему: «ты жаловался на подать в 2.000 флоринов, так изволь же теперь платить по 3.000.»)].

В просьбе студентов Пештского университета также есть черта, свидетельствующая об ослаблении национальной вражды

между славянами и венграми: эту просьбу о замене немецкого языка венгерским подписали вместе с молодыми людьми венгерского происхождения множество молодых людей из славян. По этому поводу корреспондент Times'a сообщает еще один любопытный факт. Когда после войны австрийское правительство стало прислушиваться к народному ропоту во всех областях, то, разумеется, оказалось, что повсюду хотят введения представительной власти в правительстве. Такое нелепое желание, конечно, не могло быть исполнено; но австрийские министры придумали средство «доставить обществу надлежащее участие в законодательных совещаниях», не заражая Австрию тлетворным парламентаризмом: теперь составляется проект нового городского и сельского управления, и в каждой области министры выбрали по несколько благонадежных людей, которых и приписали к комиссиям, составляющим проект. Эти «поверенные» или «благонадежные люди» (Vertrauensmänner), конечно, были взяты из лиц самых благонадежных для австрийского правительства. Но даже и они, люди самые отсталые в целом обществе, выражают желания, нимало не приятные для австрийской системы, и, между прочим, поверенные из южных австрийских провинций выражают <мысль>, что при венгерском правительстве было для них лучше, чем при австрийском. Вот отрывок из Times'a:

«Один из поверенных, выбранных самим правительством для рассмотрения нового общинного закона, именно представитель Воеводины, провинции, оторванной в 1849 г. от Венгрии, прямо выразил требование, чтобы эта область была присоединена обратно к Венгрии. Другой поверенный, родом из города Сабатки, в 1848 и 49 годах выказывавшего величайшую ревность в сербском движении против венгров, также сказал, что его город поручил ему требовать того же самого. Может ли правительство долго упорствовать в поддержании такого порядка дел, против которого энергически протестуют даже те люди, в пользу которых, по словам правительства, устроен этот порядок? (Посмеемся [опять] над английским тупоумием. Почему же не может, пока имеет войска для усмирения протестующих?) Мы знаем, что *divide et impera** было всегда девизом венского кабинета, что раздробление венгерского королевства в 1849 году имело существенную целью только ослабление Венгрии и что удовлетворение, которое будто бы давалось этим раздроблением желанию не-венгерских национальностей, было только предлогом, более или менее ловким. Но если это принужденное разделение само содействует нравственному соединению областей, между которыми правительство хочет поддерживать антагонизм, то очевидно, что политика правительства столь же неловка, как и несправедлива».

В первое время после постыдных итальянских поражений австрийское правительство прониклось, как известно читателям, самими либеральнейшими (по крайней мере, по его собственному уверению) тенденциями, иначе сказать, нашло, что пока зарастут прорехи, наделанные французским штыком в его волчьей коже, надобно прикрывать их овечьей шкурою. Для этого даны восхитительные льготы протестантам, обещано новое муниципаль-

* «Разделяй и властвуй». — Ред.

ное управление и т. д., для этого же был отставлен от должности министра барон Бах, считавшийся самым яростным приверженцем обскурантизма, и сделан министром Гюбнер, либерализм которого достаточно свидетельствовался уже тем фактом, что до последней войны он был посланником в Париже, где, разумеется, должен был проникнуться свободолюбием нынешней французской системы. Действительно, барон Гюбнер оказался нестерпимо либерален для австрийского кабинета и теперь уже получил отставку, прослужив министром ровно столько же времени, сколько Бельтов⁴ служил канцелярским чиновником. Главным преступлением его было желание сделать что-нибудь для смягчения ненависти венгров. Вот рассказ об этом деле, присланный в Times из Пешта.

«Со времени подчинения нашей страны нынешнему управлению в первый раз австрийский министр явился между нами в лице г. Гюбнера, бывшего министра полиции. Его посещение не принесло ему счастья: по общему мнению, он вышел или, вернее сказать, удален в отставку за венгерские дела. Несколько времени назад наши газеты, столь молчаливые о всех внутренних делах, начали уверять нас, что правительство серьезно и почти исключительно занято Венгрией, что примирение с нею должно служить введением к дарованию другим провинциям либеральных учреждений, обещанных императорскою прокламациею 15 июля. Молва говорит, что барон Гюбнер поехал, как депутат от своих товарищей, познакомиться с истинным положением общественного мнения в нашей стране. Недолго ему нужно было жить здесь, чтобы увидеть, как мало доверяют венгры венским обещаниям и как мало важности придают им. Но г. Гюбнер не отчаялся. Он обратился к партии, которая до 1848 года называлась у нас консервативной и была привязана или, по крайней мере, очень легко могла быть привязана к нынешнему правительству; он выразил желание узнать требования венгров или, по крайней мере, то, чем ограничивает требования венгров эта партия, как самая умеренная. В Тот-Медере, поместья графа Людовика Карольи, съехалось около 30 членов консервативной партии. Г. Гюбнер сообщил им намерения правительства относительно Венгрии, которые казались ему очень способными удовлетворить нацию, и просил их откровенно высказать свое мнение. Эти аристократы единодушно объявили, что императору австрийскому, королю венгерскому, остается только один способ удовлетворить венгерский народ, и способ этот заключается в том, чтобы восстановить то самое положение, какое было до 1848 года, возвратить Венгрии прежнюю независимость и конституцию, насильственно отнятую у ней десять лет тому назад; что Венгрия не желает полного уподобления с остальными австрийскими провинциями и что так называемые прогрессивные уступки, предлагаемые ей, не удовлетворяют никого. «По отношению к правительству, — сказали они барону Гюбнеру, — в Венгрии нет партий. В этом отношении мы все соединены одинаковым желанием, мы все требуем сохранения нашей национальности, с независимостью, необходимою для ее развития, независимостью, которая была плодом восьмивековой борьбы. Мы хотим остаться венграми и не хотим делаться австрийцами. Положительные уступки, которые расположен сделать венский кабинет, могут заставить замолчать нескольких робких людей, но на массу населения не произведут никакого действия».

«Этот опыт, к которому барон Гюбнер прибежал для исполнения своего поручения, должен был убедить его, что действительно существует только один способ примирить Венгрию с императорскою династиею. Говорят, что он имел мужество открыто выразить свои убеждения перед императором, и результатом было, что через несколько дней по своем возвращении в Вену он был принужден выйти в отставку. Единственною ли причиною этой вы-

нужденной отставки были венгерские дела? Этого я не могу сказать положительным образом; но достоверно то, что немногие люди, по легковериию или по робости имевшие расположение верить в перемену системы со стороны правительства и начинавшие радоваться этой предполагаемой перемене, потеряли последнюю надежду, и теперь венгерцы более, чем когда-нибудь, убеждены, что единственное спасение для них состоит в том, от чего и должна ждать себе единственного спасения нация, бывшая свободно несколько веков, — состоит в единодушии и мужестве».

Вот другое письмо того же корреспондента, служащее продолжением первого.

«Вот уже около двух недель прошло после отставки барона Гюбнера, но здесь все еще продолжают говорить о его неожиданном удалении из кабинета. Такое продолжительное внимание должно назваться феноменом в нашу эпоху, когда все так скоро забывается. Но еще любопытнее то, что о Гюбнере серьезно жалеют, — эта честь не оказывалась еще ни одному из императорских министров с 1849 года. Гюбнер был министром очень недолго, в сношениях с нами был еще меньше времени, а между тем, видя сожаление о его отставке, можно почти сказать, что он успел приобрести популярность в Венгрии. Вот каким путем он достиг этой quasi-популярности. Во-первых, он строго держался в границах закона и уважал то положение вещей, которое создано эдиктами и постановлениями системы Баха и Шварценберга. Эта система не очень удовлетворительна, эти эдикты и постановления заслужили мало симпатии в Венгрии; но все-таки администрация, считающая себя обязанной соблюдать хотя их, лучше такой, которая поступает совершенно произвольно, по капризу министров и других лиц. Во-вторых, Гюбнер, отстраняя обманчивых и туеядных посредников, хотел видеть все своими глазами и, что еще важнее, не закрывал и не отворачивал глаз от фактов, несогласных с понятиями, которые угодно иметь венскому правительству. Благодаря такому образу действий, он стал в Венгрии менее непопулярен, чем его предшественники и товарищи. Особенно оценили в Венгрии то, что он сам старался вникать в вещи, потому что Венгрия убеждена, и по моему мнению справедливо, что если бы венское правительство захотело ясно видеть отрицательные или положительно дурные последствия, произведенные здесь его насильственной централизующей политикой в последние десять лет, то оно решилось бы для соблюдения собственной выгоды покинуть эту политику и удовлетворить справедливым требованиям страны, которые выражаются с постоянно возрастающей энергией.

«Политическое и национальное движение, обнаруживающееся теперь в Венгрии и произведенное преимущественно итальянской войной и императорским манифестом 15 июля, не должно, кажется, ослабеть от неуспеха тот-медерского свидания и отставки Гюбнера. Напротив того, с каждым днем представляются новые доказательства серьезности этого движения и его распространения по всем классам общества. Оно обнаруживается особенно тем фактом, что прежние политические люди, систематически державшие себя в полном бездействии, начинают видеть, что они сделали важную ошибку, что напрасно унывали духом, что чем менее равенства в оружии, тем славнее сражаться. Очевидным доказательством того, что венгры хотят покинуть политику безучастия, служит записка, поданная четырьмя очень уважаемыми магнатами императору для ознакомления его с причинами неудовольствия и с желаниями нации. Чувство, внушившее эту записку, разделяется огромным большинством дворянства».

Из письма венского корреспондента Times'a мы берем изложение требований, выражаемых четырьмя магнатами в записке, поданной императору.

«Можно сказать положительно, что уже недалека минута, когда австрийское правительство увидит себя принужденным уступить требованиям Венгрии. Поэтому будет нелишним, если я подробнее расскажу вам содержание записки, представленной кабинету предводителями старой консервативной партии. Вот извлечение из нее:

«Венгерцы требуют своей конституции и муниципальных законов в том виде, как постановил сейм 1848 года, и требуют восстановления венгерского королевства «в его древней и законной целости». Предлагают назначить придворного канцлера (Hofkanzler) с правом голоса в кабинете. Ему должна быть поручена организация венгерской придворной канцелярии. Предлагают назначить королевского наместника, который «вместе с придворной канцелярией и баном кroatским организует венгерское королевство вместо существующих теперь венгерских округов*, баната и кroatских наместнических отделений (Stadthalterei-Abteilungen)». Далее венгерцы требуют: назначения наместников или правителей в каждый комитет и королевских комиссаров в вольные города; восстановления королевского «стола» (высшего судилища) и «септемвирата»; преобразования венгерской «придворной камеры» (казначейства); замены провинциального финансового управления (Finanz-Landes-Direktion) и прокураторов (чиновников, заведующих доходами) — прежними финансовыми учреждениями; возвращения церковных, академических и университетских фондов под начальство наместника и духовной комиссии (Commissio Ecclesiastica) и возвращения Пештскому университету терезианских привилегий; предоставления всем чиновникам и судьям права вести дела на венгерском языке; введения этого языка во все школы, кроме тех, которые учреждены для других национальностей; наконец, восстановления корпуса королевской венгерской (дворянской) гвардии.

«Составители записки говорят, что если императорское правительство захочет принять эти предложения, то «в одной Венгрии» расходы скоро сократятся на тридцать или сорок миллионов флоринов. Эти четыре магната: графы Майлат, Дешевфи, Сечен (не Сечени) и барон Йошика, предлагают также созвать в Буде провинциальную комиссию для обсуждения следующих вопросов: 1) о средствах предупредить на будущее время столкновения между нацией и королем; 2) об установлении отношений между верхней и нижней палатами венгерского сейма «на основании общественных и политических перемен, произведенных мартовскими законами 1848 года»; 3) о преобразовании муниципального управления; 4) о плане учреждения венгерского закладного банка; 5) о том, какую часть существующего государственного долга должна принять на себя Венгрия; 6) о приведении в гармонию венгерских и австрийских законов. По решению этих вопросов, будет уже возможно созвать сейм, короновать императора королем венгерским и выбрать палатина.

«Записка оканчивается следующими словами:

«Последствия покажут, что конституционная и федеративная связь между Венгрией и Австрией, учрежденная прагматическою санкциею, даст империи более внешнего могущества и внутреннего благоденствия, чем система централизации».

Из этого мы видим, что венгерцы самой умеренной партии требуют восстановления отношений, в которые стало их отечество к Австрии в марте 1848 года, когда Венгрия была провозглашена совершенно независимым от Австрии государством, соединенным с другими австрийскими землями только единством царствующего лица, в том роде, как Норвегия соединена со Швецией. До

* Собственная Венгрия теперь разделена на пять «административных округов»: Буда-Пештский, Пресбургский, Эденбургский, Кашауский и Гросвардейский.

1848 года требования консервативной партии были умереннее. Относительно внутреннего устройства, принятого Венгрией в марте 1848, заметим, что оно давало демократическому элементу перевес над аристократическим, господствовавшим до той поры, и было построено на самых свободных основаниях. Само собою разумеется, что венское правительство никогда не может согласиться ни на что подобное; а если таковы требования самых отсталых людей самой консервативной партии, не принимавшей участия в венгерском восстании и заслужившей тогда общую ненависть крайним недостатком либерализма и патриотизма, то легко можно заключить, что желания громадного большинства венгерской нации идут гораздо далее [и что габсбургская династия ни при каких обстоятельствах не может примирить с собою Венгрию].

Австрийское правительство говорит, что за потерю политических прав оно с избытком вознаградило Венгрию заботливостью своею о развитии материальных ее интересов. Но вот письмо пештского корреспондента газеты Times.

«Органы австрийского правительства напрасно говорят, что нынешняя система была благоприятна развитию материальных средств Венгрии. Материальные успехи, сделанные ею в последние десять лет, произведены не австрийским правительством, а просто тем общим европейским прогрессом, который отразился и на Венгрии; а еще более обязана своим развитием Венгрия своему сейму 1848 года, который освободил крестьян, провозгласил равенство всех граждан перед законом и принял другие либеральные меры. Материальное развитие Венгрии было бы гораздо быстрее, если бы австрийское правительство не считало нужным всячески задерживать его. Это правительство, например, более чем удвоило величину налогов в последние 10 лет; поземельная подать теперь так тяжела, что большие и малые собственники бросают возделывание земли по той простой причине, что доход с нее не окупает налагаемой подати. Беспорядочное финансовое управление обременило Венгрию долгам, которого не имела она десять лет тому назад, и лишило ее всей звонкой монеты, которая заменена упавшими в цене бумажными деньгами; от этого торговый баланс очень невыгоден, а внутренний кредит совершенно расстроен. Словом сказать, Венгрия подвергалась хищничеству во всех отношениях: в национальном, территориальном, политическом и денежном; а между тем полуофициальные органы венского кабинета в Праге, в Аграме и в других городах отваживаются говорить о выгодах, доставленных Венгрии австрийским владычеством и даже — о господи, твоя воля! — требовать благодарности от венгерцев».

Слова эти применяются и ко всем другим провинциям Австрийской империи: повсюду в последние 10 лет налоги удвоились или утроились, и все-таки доходов далеко не достаёт на расходы. Расстройство финансов служит одним из главных оснований предсказывать близкий переворот в империи.

Читатель согласится, что теперь было бы поздно рассуждать о тех недавно еще хвалёных мерах, которыми венское правительство думало поправить свои денежные дела. Теперь каждый говорит, что все эти похвалы [чистый вздор]. С 1848 года расходы средним числом были почти вдвое более доходов. Вот общая

таблица суммы доходов и расходов за восемь лет, с начала 1848 до конца 1855, сообщаемая Чорнигом.

Всего получено доходов за эти 8 л.	1.652.565.419	флоринов.
Обыкновенных расходов за эти 8 лет было	2.005.137.304	„
Таким образом, на покрытие обыкновенных расходов недоставадо	352.571.885	„
Кроме обыкновенных расходов, было чрезвычайных расходов на военные и другие издержки	977.908.240	„
Итого весь дефицит за 8 лет	1.330.480.125	„

Этот дефицит покрывался займами, заключаемыми на самых разорительных условиях, выпуском бумажных денег, вытеснивших из обращения звонкую монету и, разумеется, упавших в курсе, продажей государственных имуществ по самой невыгодной цене и назначением произвольных поборов под именем национальных займов. Из этих произвольных поборов особенную знаменитость приобрел в последние месяцы так называемый национальный заем 1854 года, сущность которого превосходно характеризуется одною фразою официальной книги Чорнига: «Его императорско-королевское величество повелел *наложение добровольного займа* (verordnete seine к. к. Majestät die Auflegung eines freiwilligen Anlehens) в размере не менее 350 и не более 500 миллионов флоринов». Действительно, сущность дела состояла в том, что каждому общественному учреждению и каждому частному лицу, имевшему деньги или предполагавшемуся имевшим деньги, было приказано добровольно взять приходившееся на него по раскладке количество облигаций и уплатить за них деньги. [По австрийским понятиям это совершенно в порядке вещей, и мы совершенно сходимся в этих понятиях с австрийцами.] Но что же обнаружилось ныне осенью? Вместо 500 мил., показывавшихся по отчетам, было взято 611 мил., то есть взято добровольных пожертвований целыми 111 миллионами больше, чем следовало взять по самому предписанию о добровольном займе. Европейские биржи ужаснулись и начали говорить, что теперь нельзя уже иметь ровно никакого доверия к австрийским финансам, потому что финансовые операции производятся фальшивым образом и в отчетах выставляются фальшивые цифры. Мы не понимаем хорошенько, для чего горячиться из-за неверности цифр в таких документах, которые составляются совершенно произвольным образом. Если венское правительство может налагать какие ему угодно подати, если оно может расходовать деньги как ему угодно, то, разумеется, может и говорить об этих доходах и расходах, как ему угодно; произвол в словах вещь совершенно ничтожная по сравнению с произволом в поступках.

Министр финансов, говорят европейские биржи, обманул Австрию и Европу на 111 миллионов; но велика ли тут важность, когда венское правительство в восемь лет израсходовало

1.300 миллионов, которых не имело, стало быть, по-настоящему, и не могло расходовать? К чему кричать о какой-нибудь разнице в одновременном поборе на 111 миллионов, когда, благодаря всему характеру австрийского хозяйства, ежегодные расходы по платежу процентов государственного долга в десять лет увеличились на 63 миллиона? Действительно, в 1848 году проценты австрийского долга составляли 33 миллиона, а в 1858 году — 96 миллионов; сумма долга, к 1848 году составлявшая 666 миллионов, к 1858 году простиралась до 1.733 миллионов. Нам кажется, что при таком хозяйстве, при котором в десять лет долг возрастает в два с половиною раза, нечего уже толковать ни о каких фальшах [и обманах].

Но банкиры, конечно, по ограниченности своих понятий, судят иначе, и вслед за ними вся австрийская публика возопила, что Брук совершил неслыханно [бесчестное] дело, когда обнаружилось, месяца два тому назад, что он пять лет обманывал Австрию и Европу на 111 миллионов. Все заговорили, что такого [бесчестного] обманщика нельзя терпеть в должности министра. Несколько времени были уверены, что Брук получит отставку. Но он не получал никаких намеков [из дворца] о том, что ему грозит немилость. Для очищения совести, он сам подал в отставку, но его просьба не была принята [императором]; напротив, император сказал, что его доверие к Бруку сохраняется неизменным. Брук остался.

[Конечно, такое «торжество порока» еще усилило общие крики о безнадежности и безнравственности положения, в котором держит себя австрийское правительство. Но] полуофициальные органы австрийского правительства находят прекрасные извинения для поступка, столь жестоко осуждаемого биржами и публикой. Франкфуртский «Акционер» говорит, что когда государство и Венский банк сводили свои счета в 1855 году, часть национального займа 1854 г. была предназначена для выкупа бумажных денег. «Когда начался выкуп их, оказалось, что один из разрядов бумажных денег остался пропущен в расчетах. Сумма эта простиралась до 60.000.000 и необходимо было собрать ее, чтобы банк возобновил платежи. Сделать тогда новый заем не оказалось возможным, потому министр финансов прибег к отчаянному средству получить деньги тайным увеличением национального займа. Излишек его облигаций, выпущенный тайно, был передан иностранным капиталистам, у которых барон Брук предполагал постепенно выкупить их. Но когда война расстроила этот план, он объявил публике истинное положение дел. Ошибка, из которой возникла необходимость тайного займа, была сделана чиновником, который прежде оказал такие великие услуги государству, что барон Брук почел обязанностью чести принять порицание на себя». Финансовые люди говорят, что это оправдание сочинено неправдоподобным образом; что порядок, по которому состав-

ляются сметы и расчеты, не допускает возможности подобных пропусков при вычислении количества выпущенных бумажных денег. «Аугсбургская газета» представила другое оправдание: она не говорит ни о пропуске в смете, ни о выкупе бумажных денег, а просто говорит, что понадобилось больше денег на расходы, чем предполагали при наложении национального займа, что заключать иностранный заем было бы невыгодно, и тайным расширением принужденного займа барон Брук оказал государству великую услугу, доставив ему деньги на условиях более выгодных. Венские газеты прибавляют, что этот факт свидетельствует о процветании Австрии: если вместо 500 миллионов, говорят они, можно было взять более 600 миллионов, это служит поразительнейшим доказательством того, как много денег в Австрии, и ручательством того, что правительство может брать их, сколько ему понадобится, стало быть, не страшны ему никакие дефициты. С этим нельзя не согласиться. Пока у австрийских подданных есть товары, дома, земли, разумеется, можно брать с них деньги, и [пока правительство будет безбоязненно брать у подданных столько денег, сколько захочет, оно, конечно, может] расходовать вдвое против своих правильных доходов. [Таким образом, самое дело свидетельствует в пользу австрийского благоденствия. Остается только защитить личный характер министра. Это можно сделать в двух словах: увеличив тайным образом заем, он поступил не по собственной воле, а по требованию и положительному разрешению императора.]

Став на такую точку зрения, мы нимало не смутимся перспективой, которая предстоит австрийским финансам при нынешней системе. Перспектива эта превосходно объяснена статъею, которая помещена в «Аугсбургской газете» и, очевидно, прислана полуофициальным образом от австрийского правительства. Она доказывает, что расходы никак не могут быть уменьшены, но что Австрия богата и не должна бояться дефицитов, без которых обойтись нельзя. Действительно, дефициты с каждым годом возрастают, и теперь австрийский государственный долг, по предположениям банкиров, должен быть целою третью выше того, чем был два года назад: в 1858 году он считался, как мы говорили, в 1.733 миллиона; к ним надобно прибавить недавно открывшиеся 111 миллионов тайного займа, всего около 1.850 миллионов. В два последние года должно было прибавиться к нему еще 600 миллионов. Нового тут ничего нет: мы видели, что и в прежние годы дефициты средним числом были около 200 миллионов ежегодно. Если такой порядок мог держаться вот уже целых 11 лет, то почему же он не может держаться еще 11 или 20, или 30 лет? [У австрийских подданных есть имущество, следовательно, у казны есть источник для добывания денег, лишь была бы охота брать их, а в охоте брать деньги недостатка нет.]⁵

После этого не нужно будет огорчаться [нам и другим друзьям Австрии], если окажется бессилие австрийского правительства провести дело, за которое оно взялось, будучи встречено ропотом при открытии тайного займа. Император австрийский приказал назначить новую комиссию по финансовым делам и приказал, чтобы на следующий финансовый год эта комиссия составила бюджет, в котором не было бы дефицита. Благодаря новейшим усовершенствованиям [в государственном счетоводстве,] составление такого бюджета самая легкая вещь. Нужно только отделить весь излишек расходов против доходов и не вносить этого излишка в бюджет, назвав все эти лишние расходы экстренными, не входящими в расчет обыкновенных расходов. Тогда под названием обыкновенных расходов останется в бюджете такая сумма, которая будет покрываться доходами.

Общее отношение правительства к стране характеризуется его отношением к печатному выражению мнений. Свобода, которую пользуется публицистика, бывает соразмерна с уверенностью правительства в том, что коренные учреждения государства соответствуют желаниям населения. Стеснительные меры против журналистики служат выражением того, что правительство чувствует шаткость оснований, на которых держится. Потому австрийская журналистика всегда находилась в стесненном положении. После войны австрийский кабинет, вынужденный к некоторым наружным уступкам для смягчения общего ропота, должен был допустить газеты к обсуждению некоторых предметов, споры о которых не дозволялись прежде. Теперь, оправившись от первого смущения, он захотел отнять у газет ту гомеопатическую дозу свободы, которой они пользовались недолгое время⁶. 29 ноября явилось министерское распоряжение, в дополнение к закону 1852 года, относительно политических газет. Оно состоит из четырех параграфов; два первые содержат в себе неопределенные фразы, имеющие некоторый оттенок либерализма и служащие прикрытием для других двух параграфов, в которых находится истинное содержание нового постановления. Третий и четвертый параграфы говорят о наказаниях за напечатание недостоверных известий или сведений, составляющих правительственную тайну, или слов, могущих быть оскорбительными для правительственных или частных лиц. Эти правила составлены так, что каждое суждение и каждое известие может быть подведено под них. Из писем венского корреспондента Times'a мы берем известия о действии, произведенном на публику этим постановлением.

«Вена, 30 ноября.

«Третий и четвертый параграфы напечатанного вчера министерского распоряжения произвели чрезвычайно дурное впечатление в публике, которая открыто говорит теперь, что ее правители «неисправимы». Венгерцы, живущие в Вене, радуются тому, что правительство приняло такую меру, значи-

тельно увеличивающую его непопулярность в Австрии и отвращающую от него симпатию в Германии. Когда граф Рехберг вступил в должность, он представлялся человеком пронизательным, но теперь, повидимому, стал глух и слеп ко всему, что происходит вокруг него. Какое впечатление произведено в венской журналистике новым распоряжением, можно судить по статьям, напечатанным ныне в *Wandere* и *Presse*. *Presse* спрашивает, возможно ли существовать газетам при таких стеснениях, говорит, что они должны потерять всякую самостоятельность, и продолжает: «правительство, обещавшее соблюдать законность в отношении газет, не может приводить в исполнение таких распоряжений». *Wandere* говорит то же самое.

Вот отрывок из следующего письма того же корреспондента.

«Вена, 2 декабря.

Министерское распоряжение, служащее дополнением к закону о тиснении 1852 года, продолжает сильно занимать венскую публику, которая открыто объявляет, что ничего хорошего нельзя ожидать от людей, издающих такие нелиберальные и иезуитские постановления. Уважаемые юристы утверждают, что это постановление противоречит уголовному кодексу и потому не может быть исполняемо. Но судьи в Австрии теперь менее независимы, чем прежде, и можно ожидать, что некоторые из них пожертвуют строгому закону, чтобы избежать опасности лишиться места. Но говорят, что судьи были бы правы, если бы объявили новое министерское распоряжение противозаконным. Все газеты громко жалуются на него. Люди, желающие извинять поступок министерства, говорят, что правительство будет «законным порядком» преследовать нарушителей нового распоряжения; но они забывают недавний случай, бывший в Праге. Суд, состоявший из четырех или пяти членов, решил одно дело не по желанию министра фон-Баха — и судьи были отставлены. Впрочем, это возбудило в судейском мире такое всеобщее негодование, что правительство скоро было принуждено возратить должности судьям, отрешенным за соблюдение справедливости. Правительство продолжает думать, что приняло хорошую меру, но оно скоро почувствует, что сделало страшную ошибку: оно дало сильное оружие своим врагам, которые не замедлят им воспользоваться. Австрийские газеты так негодуют на новое распоряжение, что, конечно, не станут поддерживать ни одной из будущих мер правительства».

«Граф Рехберг и барон Тьерон, министр полиции (продолжает тот же корреспондент в письме 5 декабря), должны знать, что время теперь очень неблагоприятно для ссор с газетами; но они подчинены требованиям двора и иезуитской партии. Когда соберется конгресс, Австрии будет очень нужна помощь ее газет, но она не будет иметь от них помощи: публицисты решились доказать графу Рехбергу и его товарищам, что они не простые машины. Правительство воображает, что подчинило журналистику своей власти; но оно скоро увидит, что ошибается. У правительственных лиц на языке постоянно патриотизм и они постоянно жалуются на то, что находят его в Австрии так мало; они должны были бы знать, что жители многих провинций открыто и публично объявляют, что устали терпеть нынешний порядок дел и желают перемены. Люди, посещающие кофейные и трактиры столицы, говорят, что трудно решить, военные или статские сильнее бранят правительство. Знатные и простолюдны, богатые и бедные, все ропщут, и господствующее впечатление то, «что Австрия разваливается», — я употребляю выражение, сказанное мне одним из богатых и очень уважаемых людей».

«Министерское распоряжение относительно журналистики (продолжает тот же корреспондент в письме от 6 декабря) произвело чрезвычайно дурное впечатление в Германии, и немецкие газеты уже выразили, что не могут иметь ни малейшего доверия к кабинету, который доказал, что превосходит своею реакционностью даже кабинет, ему предшествовавший. Может быть, что он произведет несколько неважных реформ; но нет ни малейшей вероят-

ности, чтобы он произвел какую-нибудь важную перемену в прежней системе, если не произойдет каких-нибудь чрезвычайных событий. Непопулярность правительства чрезвычайно велика, и публика говорит таким языком, что мне кажется, будто народ, отчаявшись в улучшениях, желает насильственного расторжения империи. Прежде никогда нельзя было услышать враждебного слова против династии, но теперь выражаются о ней таким языком, которого я не хочу повторять. Требования венгров возрастают, и некоторые из их предводителей говорят теперь, что восстановление конституции будет недостаточно «без гарантии других держав».

Всеобщее неудовольствие во всех областях, [непримиримая ненависть к правительству во всех] землях бывшего венгерского королевства, [ожидающих только случая к восстанию,] [отчаянное] финансовое положение, поправить которого нет возможности, — вот факты, [на которых основаны предсказания о скором распадении Австрии. Мы уже говорили, что нимало не отрицаем этих фактов]; прибавим даже, что не находим никакой возможности устранить их при нынешней системе. Венгрия не примирится с австрийским порядком никогда. В других провинциях будут с каждым годом распространяться чувства, господствующие ныне в Венгрии; с каждым годом нынешний порядок дел будет все исключительнее поддерживаться только [вооруженным насилием; военный деспотизм и незаконное управление] с каждым годом будут все увеличивать дефициты и изнурять все области. Но что ж из того? Разве в массах распространилось ясное убеждение, что подобный порядок дел неизбежен при существовании габсбургского дома? Совсем нет. Правда, в одном из переведенных нами писем говорится, что теперь не редкость услышать в Вене враждебные выражения о династии. Но, во-первых, в каком кругу они слышатся? В каком-нибудь так называемом образованном обществе, которое составляет незаметную каплю в море населения. Во-вторых, даже из этой горсти людей очень немногие произносят свои слова с прямым и твердым убеждением, а почти все другие только так себе болтают на досуге, вовсе не будучи непоколебимы в этих мыслях; напротив, оставаясь в душе верными подданными. Людей, которых династия могла бы действительно считать своими врагами, в Австрии очень мало. Мы уже не говорим о Тироле и о других немецких областях, не говорим о южных австрийских славянах [которые обвиняют во всем только министров и генералов, советников и исполнителей]. Обратим внимание на темные чувства или предрассудки огромного большинства населения даже в тех областях, которые называются наиболее враждебными австрийскому правительству. Возьмем в пример Богемию и Венгрию. Чего хотят чехи? Быть отдельным королевством, находящимся в федеративном отношении к другим австрийским областям, имея только то общее с ними, что король чешский в то же время будет королем венгерским, эрцгерцогом австрийским, королем далматским, и прочее. Того же хочет и Венгрия. Что ж из этого следует? Власть оставалась бы все-таки в тех же руках.

как теперь. Династия не могла бы примириться с унижением, которому подвергало бы ее федеративное и конституционное устройство. Имея в своем распоряжении войско и администрацию, она не замедлила бы восстановить нынешний порядок вещей, более выгодный для нее. Потому мы думаем, что существенной перемены в положении австрийских земель нельзя ожидать раньше того очень продолжительного срока, пока в массах созреют и упрочатся привычкой совершенно новые убеждения о нынешней австрийской династии. [При ней невозможен никакой иной порядок вещей, кроме нынешнего. «Ничто не вечно под луной», потому и Австрия когда-нибудь разрушится, мы даже положительно убеждены, что это неизбежно. Но] продолжительность времени, нужная для перемены укоренившихся предубеждений, внушает нам отрадную уверенность, что [на наш век еще продолжится нынешнее австрийское хозяйничанье и] благополучно переживет те опасности, каким может подвергнуться в более или менее скором времени: ведь пережила же Австрия наполеоновский разгром, пережила 1848 год; будем надеяться, что жизненной силы нынешних [предубеждений] достанет на перенесение еще нескольких подобных пароксизмов. [Но само собою разумеется, что после каждого пароксизма предубеждения ослабевают и раньше или позже ослабеют до такой степени, что явится возможность прочно утвердиться новому, лучшему порядку вещей⁷.

Очень может быть, что читатель теперь спрашивает себя: за чем же мы начали этот обзор изложением австрийских дел, как будто бы в них произошло или должно скоро произойти что-нибудь новое, между тем как все наши слова показывают, что в Австрии не произошло ничего нового и не может произойти до тех пор, пока не явятся какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства. Мы начали с австрийских дел только для того, чтобы начать с чего-нибудь много, а не с итальянского вопроса, о котором, наконец, утомительно стало нам каждый месяц повторять одно и то же, с вечным прибавлением одного и того же вывода: «читатель видит быстрое приближение развязки, на которую мы указывали в прошедший раз». Старая дурная рутина ужасно долговечна, — Австрия существует как будто в подтверждение этому афоризму, а итальянское дело как будто нарочно ведется так, чтобы служить неопровержимым доказательством другой, не менее успокоительной истины: «самые законные потребности нового остаются страшно долго без удовлетворения, и только через длинный ряд неудач и поражений... конец осуществления...»].

Противоположность между английскою и французскою политикою в итальянском вопросе послужила для французских правительственных газет формальным предлогом к нападениям на Англию, которыми усилились постоянные опасения англичан, что император французов думает начать войну с Англией. Печатный ход этого дела соответствует обыкновенному способу, которым

император французов подготавливает свою нацию к делам, нужным по его соображению. Читатель знает, что когда приготовления требуют долгого времени, можно провести его следующим образом: сначала выставить причины к неудовольствию, они дадут право делать вооружения; но для успокоения противника через несколько времени можно показать в словах уступчивость и прекратить полемику; это не помешает продолжать вооружения. Такая смена угроз и мягкости может продолжаться до тех пор, пока вооружения будут кончены и наступит удобное время действовать решительно. Теперь отношения Франции к Англии находятся в периоде мягкости, которая была введена в них, главным образом, статьею Times'a, требовавшею объяснения враждебного тона, принятого французскими правительственными газетами. Французское правительство отвечало на это раскрытие его намерений циркуляром министра внутренних дел к французским префектам, которым предписывалось уведомить зависящие от них газеты, чтобы они останавливали свою полемику против Англии. Это было в половине ноября нового стиля, и после того до сих пор продолжается затишье. Но мы не можем применять тона и содержания своих ежемесячных обозрений к ежедневным переменам тона в газетах, и по необходимости должны более держаться общего, довольно медленного развития в характере отношений. Читатель знает, что в последние два года общею чертою их было непрерывное усиление морских вооружений Франции и уверенности, что они имеют целью войну с Англией. Потому, не увлекаясь кратковременным и наружным прекращением недоверчивости, мы скажем несколько слов о фактах, из которых выводят заключение о намерении императора французов воевать с англичанами. Прежде всего мы приведем извлечение из статьи, помещенной в Revue Indépendante. Этот журнал служит органом орлеанистов, которые не одобряют никаких ссор с Англиею.

«Неизбежность войны с Англиею служит предметом всеобщих разговоров во Франции, все говорят, что она была бы очень популярна. А если б она и не была теперь популярна, легко было бы принять средства, чтобы дать ей популярность. Несмотря на сорокапятилетний мир, старая национальная вражда еще не погасла во французах. Особенно сохраняет она полную свою силу по всему побережью от Дюнкирхена до Байонны и считается патриотическою добродетелью. Это очевидно из тона статей против Англии в газетах, руководимых правительством. Люди, близко знакомые с берегами Ламанша, Нормандии и Бретани, говорят, что ожесточенные нападения на Англию в правительственных газетах симпатично принимались прибрежным населением. То же самое в Париже. Вражда против Англии, пробуждаемая тайными поощрениями, усиливается с каждым днем, и англичане, приезжающие по делам в Париж, говорят, что не находят такого приема там, как прежде. В высших административных кругах, в армии, во флоте, между работниками и торговцами постоянно идут об этом толки, и все согласны, что если война с Англиею будет отложена, то единственно по неоконченности приготовлений и по необходимости выбрать время. Содействие французов англичанам в китайской войне, по общему мнению, служит только

и замаскированию плана, и чем сильнее говорят об этом содействии, тем лучше достигается эта цель⁸.

«Желание войны с Англиею очень понятно. Не говоря уже о чувстве особенной вражды к Англии, громадная армия из 600.000 или 700.000 человек, упоенных ласкательством и жаждущих повышения, натурально хочет иметь дело. Но от рядового до генерала, все войско жаждет войны именно с Англиею. Как о чрезвычайном исключении, говорят о словах одного генерала, который имел мужество объявить, что в случае войны с Англиею он выйдет в отставку. Но общее чувство армий восхищается мыслью о высадке в Англию — об этом деле, которое «не удалось первой империи, но должно быть исполнено второю». 20 августа был дан в Версали обед 6.500 императорских гвардейцев. Столы были расставлены в оранжерее, и каждый солдат сидел на своем месте под командою своего офицера. В конце обеда публике позволяли войти в толпы солдат и разговаривать с ними. Один из числа публики подошел к заву с огромным шрамом на лице и сказал: «Мой друг, вы можете гордиться своею раною, и она не портит вашего вида, хотя вы потеряли от нее глаз. Вы довольно уже сражались на свой век». — «Довольно? Нет; если месяца через четыре, как мы надеемся, нас поведут в Англию, я попрошу, чтобы меня поставили первым». Рассказывают много таких разговоров. Другой заув удивил даму, подле которой сидел в вагоне, объявив ей, что французская армия опять будет в деле на следующую весну. — «Мы идем в Англию». — «В Англию!» — воскликнула изумленная дама. — «Да, madame, в Англию, на следующую весну». — «Зачем же?» — «Отмстить за себя, отмстить!» — «За что же отмстить? Франция и Англия в союзе. Они не могут воевать». — «Будут воевать, madame. Я знаю англичан. Они хорошие солдаты. Мы их уважаем, но ненавидим. Без войны нельзя». — «Но за что же будет война? Я не понимаю». — «А вот за что, madame. Мы побили Австрию за то, что она притесняла бедную Италию; теперь надобно побить Англию за то, что притесняет Индию и несчастную Ирландию». — «В Англию перейти не легко». — «Да, не легко, но все равно мы перейдем, и я, ваш покорнейший слуга, первый прошу, чтобы нас повели туда. Надеюсь, этого хочю не я один». — «Разумеется, не вы один», — подтвердил стрелковый сержант, сидевший подле: — все хотят идти в Англию». Вот образец солдатских разговоров. Армии единодушно хотят войны; флот также: у него есть на это собственные причины. В войнах первой империи французский флот терпел сильнейшие поражения, и жажда мщения в нем имеет двойную силу. Матросы с восторгом говорят, как они перевезут войско в Англию. Но хладнокровнейшие из них замечают, что Франция не может начать войну ранее 1861 года, потому что нужно не менее полутора года для заготовления каменного угля. Брест, годичный запас которого простирался прежде только до 5.000 тонн, имеет теперь до 50.000 тонн каменного угля; в Шербурге также собран большой запас, но эти количества считаются недостаточными.

«Духовенство не уступает своею ревностью флоту и армии. Univerс приходит в бешенство при одном имени Англии, а эта газета служит верным органом клерикальной партии. Крестовый психод против протестантов-англичан восхитил бы ее. Теперь французское духовенство раздражено тем, что правительство медлит воззраться под власть пачы возмутившуюся Романью. Война с Англиею — самое лучшее средство вновь приобрести поддержку от ультрамонтанцев. Тогда миссионеры станут в ряды зауав. Общественное мнение сначала сильно было против итальянской войны, и даже по совершенном изменении его множество набожных людей остались враждебны политике императора. Такой оппозиции не будет при войне с Англиею; когда духовенство и армия соединяются, их желание неодолимо.

«Говорят, что даже те классы, которые считаются непримиримо враждебными императору, одобряют эту войну. Легитимисты ненавидят Англию, так что за войну с нею готовы примириться с императором; это будет патристическим поводом войти в милость к нему, которого они давно ждут.

«Таким образом, император французав может удовлетворить армию и

Флот, принести удовольствие духовенству, привлечь к себе легитимистов и получить единодушное одобрение народа. Эта цель так искусственна, что нельзя не придавать важности словам и действиям императора, соответствующим ей. Ряд этих признаков начинается словами, которые Луи-Наполеон произнес перед палатой пэров, судившей его при Луи-Филиппе за намерение произвести возмущение во Франции. «Я — представитель поражения, которое должно быть отомщено. Это поражение — Ватерлоо». Будучи президентом республики, Луи-Наполеон не раз и не одному человеку говорил, что восстановление империи может иметь одну цель: отмщение за Ватерлоо и за Святую Елену. По восстановлении империи, учреждение медалей св. Елены служило несомненным признаком намерений его. Зачем было выбирать такое имя для напоминания о славе первой империи, учрежденной его дядею? Что напоминает этим именем? Оно говорит о поражении Франции, о победе Англии, об унижении Наполеона I. Зачем напоминать о таком факте, если не иметь намерения воспользоваться им? Это намерение состоит в возбуждении вражды против Англии, в подготовке нации к войне. Раздор с Англиею в начале прошлого года, когда Наполеон III требовал усиления наказаний против заговорщиков (Conspiracy Bill), присоединил к политическим причинам вражды личное неудовольствие. После покушения Орсини он окончательно решился воевать с Англиею, которая служит убежищем для его врагов. После того, когда он упоминал о союзе с Англиею, он горько жаловался на то, что этот союз принуждает его приносить слишком большие жертвы. С той поры приготовления к войне с Англиею идут безостановочно».

Людей, желающих непрерывного мира с Англиею, во Франции очень много; и англичане справедливо думают, что всегда будут иметь за себя, т. е. за сохранение мира, значительную партию в самой Франции. Но национальные предрассудки и во Франции, как во всех других европейских странах, так еще сильны, что по ложному понятию о национальной славе, будто бы приобретаемой победою и будто бы помрачаемой военными неудачами, готовы поддерживать врагов Англии множество французов, которые по своим политическим убеждениям никак не должны были бы делать [такой пошлости]. Любопытным примером тому явился Журдан⁹, один из сотрудников газеты Siècle. Он также вздумал неистовствовать против англичан. Его сотрудники по газете почли неприличным и вредным соглашаться на эту патристическую фантазию, и потому Журдан излил свои чувства в особенной брошюре, которую назвал «Война англичанину!» — *La guerre à l'Anglais*. Сам по себе его памфлет не замечателен и подвергся такому блестящему опровержению от его приятеля Пейра в газете *Presse*, что сам Журдан устыдился своей дикой выходки и стал извиняться в ней. Но мы приведем из его брошюры один отрывок, который может служить свидетельством, что, несмотря на все жалобы французских писателей, публицистика пользуется во Франции значительною степенью свободы. Журдан сравнивает Францию с Англиею в разных отношениях и во всем находит преимущество на стороне своей родины. По своему республиканскому образу мыслей, он с особенною любовью останавливается на том, что во Франции более равенства, нежели в Англии; но в одном отношении он принужден отдать

преимущество Англии; и вот из его памфлета отрывок, служащий заключением этого отдела:

«Англия имеет над нами (французами) только одно действительное, несомненное, бесспорное преимущество. Она имеет свободу в обширнейшем смысле слова, — свободу печати, свободу политических собраний и союзов. Этому приобретению она обязана своим могуществом. Свобода и равенство в арсенале нравственной силы то же самое, что нарезные пушки и пар в арсенале материальной силы.

«Равенство приобретено нашими отцами. Оно вошло в наши нравы, наши учреждения, наши законы и не может быть искоренено. Англия имеет свободу — почему же и мы не должны иметь ее? Зачем нам оставаться лишенными такой наступательной и оборонительной силы? Англия не замедлила заимствовать у нас наши нарезные пушки; почему же нам не заимствовать у нее оружия в тысячу раз более верного и полезного, оружия, которое творит, а не истребляет, которое создает, а не разрушает?»

«Как можем мы оставлять союзнику, который завтра может стать врагом, исключительное обладание благом, которое мы можем принять и пользование которым привычно нам?»

«Мы говорили, что Англия имеет только одно преимущество над нами: но оно таково, что в данный день может оказать сокрушительную силу. Можем ли иметь его, можем ли пользоваться им? [Да, потому что уже пользовались им. Должны ли мы принять его?] Да, потому что оно представляет непобедимую силу.

«Мы должны обладать свободой, должны вписать ее в наши кодексы, потому что она — столь могущественное оружие. Английское правительство думает, что в случае столкновения будет сильнее нас и всей Европы, потому что видит Европу лишенной столь сильного оружия. Облечемся же в это оружие».

Многие полагают, что англичане боятся исхода войны, когда постоянно высказывают такое сильное беспокойство относительно намерений императора французов. Это совершенно несправедливо. Они очень хорошо чувствуют, что как бы сильна ни была армия, высадившаяся на их берега, через месяц не останется в Англии ни одного неприятеля. Они опасаются высадки только потому, что как бы мал ни был округ, которым неприятель успеет овладеть на несколько дней, он разорением этого округа нанесет нации громадный убыток; опустошение одного английского графства, говорят они, будет стоить нации дороже, нежели вся индийская война.

[В нынешнюю осень были многие признаки, как будто бы указывавшие на то, что император французов хочет начать войну довольно скоро. Особенное внимание обратили на себя поездки одного из чиновников военного министерства, Норкара, которого Наполеон III несколько раз посылал в Англию для обозрения береговых укреплений. Отчеты его после первых поездок не соответствовали желаниям императора: Норкар доносил, что берега Англии укреплены лучше, чем он ожидал. Император три или четыре раза посылал его вновь обозреть берега, чтобы отыскать слабые пункты, ускользнувшие от прежних его поисков].

Мы не считаем нужным подробно рассказывать о том, как четыре ливерпульские купца прибегли к странному способу узнать

степень основательности общих опасений; как они отправили к императору Наполеону письмо с вопросом, действительно ли думает он сделать высадку, и как секретарь Наполеона, Моккар, отвечал им, что такого намерения никогда не было у императора французов. Разумеется, нелепый поступок был всеми осмеян и ответ Моккара не изменил мыслей ни в ком. Принуждаемая примером Франции, Англия деятельно усиливает свой флот и свои укрепления. Читатель знает, что в последнее время определено английским правительством усилить регулярное войско 30 новыми батальонами, и приняты разные меры для образования огромного резерва матросов, которым Англия могла бы располагать в случае войны. Но еще больше этих мер будет способствовать возвышению военных сил Англии реформа, которая равно хороша и для войны, и для мира.

Дух войска, главное условие его силы, возвышается соразмерно чувству собственного достоинства в солдате. До сих пор в английской армии сохранялось телесное наказание, столь противное здравому смыслу и политической расчетливости, не говоря уже о гуманных принципах. Правда, оно употреблялось редко, назначалось не иначе как по суду и ограничивалось числом ударов, ничтожным по сравнению с кодексами других армий, сохраняющих это неблагоразумное средство наказания. Но все-таки английский солдат, поступая в ряды войска, знал, что первый проступок может подвергнуть его бесчестному наказанию. Это гибельным образом действовало на нравственное достоинство солдат и уменьшало военные их силы. Правительство поняло, наконец, что вредит и государству, и армии, и самому себе, оставаясь при такой неуместной рутине. Оно не может вычеркнуть телесного наказания из военных законов без разрешения парламента, и потому теперь, до собрания парламента, изменены только правила, по которым назначается телесное наказание. Вот эти правила:

За первый проступок или за первое преступление, какого бы рода оно ни было, солдат не может быть подвергнем телесному наказанию. Ему могут подлежать только те солдаты, которые уже подвергались прежде другим наказаниям за разные тяжкие проступки. Дезертирство и воровство — вот почти единственные преступления, за которые солдат отделяется от общей массы своих товарищей, не подлежащих телесному наказанию ни в каком случае, и записывается в разряд штрафованных, которые за новое преступление могут быть подвергнуты телесному наказанию. Но он понижается в этот разряд только на один год, и если проведет его, не сделав нового преступления, то его прежнее право быть изъятым от телесного наказания возвращается ему. Приказ главнокомандующего, производящий эту реформу, заключается словами, чтобы военные суды старались назначать телесное наказание как можно реже. Если даже известный солдат, попавший за прежнее преступление в штрафной разряд, совершит до исте-

чения года, т. е. до восстановления своих прав, новое преступление, за которое может подвергнуться телесному наказанию, то из этого еще не следует, говорит приказ английского главнокомандующего, чтобы военно-судная комиссия должна была действительно приговорить его к такому наказанию: она должна действовать, смотря по обстоятельствам дела, и назначать телесное наказание только в крайних, исключительных случаях.

Эти правила предписаны только как временная мера до той поры, когда парламент совершенно отменит телесное наказание в армии. Билль об этом готовится министерством. Точно так же готовится билль об уничтожении телесного наказания в английском флоте, в котором между тем ограничено телесное наказание новыми правилами, точно такими же, какие введены в армии. Нет никакого сомнения, что эти реформы, возвысив дух солдат и матросов, принесут Англии больше пользы и значительно увеличат силу ее войск, нежели увеличилась бы она чрез прибавку целых десятков батальонов и кораблей.

Другое очень важное явление в военной жизни Англии составляет «волонтерское стрелковое движение». Читатель знает, что оно началось нынешнею весною; с той поры, под влиянием опасений войны со стороны Франции, оно постоянно и быстро развивается. Некоторые из радикалов, именно Брайт с манчестерскою школою, не сочувствуют этому движению, — во-первых, потому, что оно воинственно, а они держатся миролюбивой политики, во-вторых, потому, что оно развлекает нацию от мыслей о внутренних реформах; в-третьих, потому, что оно развивается под руководством лендлордов, то есть торийской партии. Мы думаем, что Брайт в этом случае делает ошибку: если движение достигнет своей цели, упрочит в Англии существование громадного ландвера, которого невозможно употреблять на заграничную войну, но который делает невозможным вторжение в Англию, — если англичане, благодаря этому, приобретут сами и внушат другим нациям уверенность, что высадка в Англию — просто безумство, то, освободившись от своих нынешних опасений, они будут менее развлекаться заботами об иностранных замыслах и не будут торопиться объявлением войны, как делали иногда прежде, с единственною целью предупредить сборы противника; при их рассудительности, усиление оборонительных средств сделает их еще более миролюбивыми. А торийское влияние на волонтерское движение надобно считать явлением временным: чем больше расширяться и укореняться в народе будет новое учреждение, тем более будет оно проникаться народным духом и не замедлит перейти под влияние радикалов, если только сами они захотят того. Число волонтеров с каждым месяцем увеличивается; в половине декабря их считали до 75.000 человек. Судя по силе движения, надобно полагать, что скоро число это превзойдет цифру волонтеров, которых имела Англия в 1804 году, когда Наполеон I

грозил ей булонским лагерем. Тогда, при населении вдвое меньшем, Англия имела 379.943 человека волонтеров. Нынешние волонтеры все вооружаются штуцерами и учатся стрелять очень успешно, так что масса уже состоит из хороших стрелков.

Агитация в пользу парламентской и финансовой реформы началась. Были уже два большие подготовительные митинга, один в Ливерпуле, другой — в Лондоне. Главным руководителем движения остается Брайт, как в прошлом году. Но об этом мы будем еще иметь случай говорить.